

# АКАДЕМИЯ БАГОВ

демо-версия

Научно-фантастический роман

Михаил Савченко

*Роман о мире, в котором божественность оказалась  
не чудом, а инженерной дисциплиной,  
а бессмертие — не даром, а экзаменом  
на сохранение себя через переписывание реальности.*

# Предисловие

Некоторые вещи нельзя объяснить формулой. Их можно только прожить.

Эта книга — история. С живыми людьми, которые ошибаются, боятся, влюбляются и делают выборы, от которых зависит не только их судьба.

За ней стоит вопрос, который не даёт покоя уже много лет: что, если то, что мы называем *божественным*, — это инженерная задача? К которой мы пока не подобрали инструменты — потому что не знали, что её можно *ставить*.

Может быть, вам покажется, что я фантазирую. Может быть, что я ошибаюсь. Может быть — и это самый неудобный вариант — что я прав, но пока не умею это доказать. Учёный с недоказуемой гипотезой — худшее, что может случиться с учёным.

Бывает.

# Оглавление

<b>Предисловие</b>	<b>1</b>
<b>I Сквозняк из ниоткуда</b>	<b>1</b>
1 Периферическое зрение	2
2 То, чего не бывает четырнадцать раз подряд	13
3 Должок	25
4 Нечеловеческий взгляд	35
5 Как правильно сходить с ума	43

# **Часть I**

## **Сквозняк из ниоткуда**

# Глава 1

## Периферическое зрение

Вчера я спас человеку жизнь. Не нарочно.

Это важная оговорка, потому что из неё вытекает всё остальное. Если бы я спас человеку жизнь нарочно — скажем, бросился бы в горящий дом или прыгнул в реку, — я бы сейчас не сидел в пустой квартире на Шаболовке и не записывал это в блокнот, который купил сегодня утром специально для того, чтобы записывать вещи, которые нельзя сказать вслух. Я бы давал интервью, или лежал в больнице, или, по крайней мере, чувствовал себя героем.

Вместо этого я чувствую себя ошибкой.

Не в метафорическом смысле («ах, я ошибка природы, никто меня не понимает» — хотя и это тоже). В буквальном. Как баг в коде: программа работает, пользователь ничего не замечает, но разработчик знает, что в строке 4078 есть вызов функции, которая не должна существовать. Она не ломает ничего. Она просто не имеет права быть. И однажды — никто не знает когда — она сработает, и тогда всё полетит к чертям.

Строка 4078 — это я. Даниил Рейнов, двадцать восемь лет, кандидат физико-математических наук, Москва, Институт квантовых технологий им. кого-то-кого-я-вечно-забываю (большинство российских научных институтов названы в честь людей, которых помнят только по табличке на фасаде, — что, если подумать, довольно точная метафора самой российской науки).

У меня есть лишняя функция. Как шестой палец: не болит, не мешает, но перчатки не налезают и люди смотрят. Функция такая: я иногда вижу швы на реальности.

\* \* \*

«Швы» — это, конечно, метафора. Но лучшей у меня нет, потому что для буквального описания нужен язык, которого не существует, а ближайший аналог — клиническая карта шизофреника. Поэтому — швы.

Я не экстрасенс. Не пророк. Не тот мужик из рекламы на Ютубе, который за 49 990 рублей (со скидкой, только сегодня, только для вас, только потому что Меркурий в Рыбах) обещает «пробудить квантовое сознание». (К слову: «квантовое сознание» — одно из величайших преступлений маркетинга против физики.

Квантовое — это то, что существует в гильбертовом пространстве. Ваше «сознание» существует в пространстве между вторым бокалом вина и третьей серией сериала. Но я отвлёкся.)

Так вот. Иногда — раз в несколько месяцев, без расписания и без предупреждения — мир вокруг меня на долю секунды становится *полупрозрачным*. Как будто у реальности есть подкладка, и верхний слой — нарядный, глаженный, тот, в котором живут все нормальные люди, — на мгновение задирается, и под ним — *каркас*. Чертёж. Разметка, по которой всё это — деревья, фонари, ваша жизнь — *нашито*.

Вы когда-нибудь замечали в кино монтажную склейку? Камера была справа, стала слева, актёр уже в другой позе. Хороший монтаж незаметен. Плохой — вызывает тошноту: ты понимаешь, что тебе показывают *фокус*, и рука фокусника на секунду мелькнула в кадре.

Вот это. Только не в кино. И рука — не человеческая.

Я вижу, как события *монтируются*. Как следствие появляется раньше причины, а потом причина аккуратно подрисовывается задним числом — как подпись под чужим приказом. Мир вокруг меня — *собирается*. Прямо на глазах. На лету. На ходу. Из деталей, которых секунду назад не было, — как мебель из ИКЕА, только инструкция на языке, которого я не знаю, и сборщик — невидим.

У психиатра на Баррикадной (один визит, двенадцать лет, сто двадцать таблеток феназепама, полгода в состоянии варёного пельменя) это называлось «повышенная тревожность с элементами диссоциации». У Канемана в книге, которую я прочитал в шестнадцать («Думай медленно, решай быстро», глава про интуицию экспертов) — «быстрая бессознательная обработка данных». Замечательные формулировки. Обе. Одна — для того чтобы прописать таблетки. Другая — для того чтобы не прописывать.

Ни одна не объясняет того, что случилось, когда мне было семь.

Об этом — позже.

\* \* \*

Лифт не работал.

В любой другой стране это потребовало бы объяснения. В России объяснения требует работающий лифт: что случилось, кого уволили, какой грант пропили, что мы сделали не так. Неработающий лифт — это стабильность. Это уверенность в завтрашнем дне. Это экзистенциальный якорь в мире, где всё остальное непредсказуемо.

(Я, кстати, абсолютно серьёзен. Одна из вещей, которые никогда не поймут иностранцы о России, — это то, что здесь хаос является формой порядка. Российский институт, в котором всё работает, вызывает подозрение. Значит, день-

ги откуда-то. Значит, кто-то кому-то. Значит — жди беды. А институт, в котором ничего не работает, — свой, родной, понятный. Тут можно расслабиться.)

Я поднялся на седьмой этаж пешком, задыхаясь и проклиная свою привычку курить «одну перед сном» («одна перед сном» — это квантовый объект: она одновременно одна и четыре, и коллапсирует в конкретное число только при наличии наблюдателя), и обнаружил работающую кофемашину.

Кофемашина в нашем институте — это индикатор состояния вселенной. Если она работает — день будет странным. Если не работает — всё по плану. Сегодня она работала. Я должен был насторожиться.

Кофе был отвратительный. Это успокаивало: по крайней мере, *законы термодинамики* в нашем институте ещё работали. Энтропия на месте. Хорошая, честная энтропия, превращающая сносные кофейные зёрна в невыносимую жидкость.

\* \* \*

Лена Маркова уже сидела на месте.

Три монитора, клетчатая рубашка, и выражение лица, которое я за четыре года так и не научился классифицировать, — среднее между «я вижу тебя насквозь» и «не заставляй меня тратить на это слова».

Лена — мой напарник, соавтор, и (я это говорю без тени романтизма, если что) — единственный человек в радиусе четырёх этажей, с которым я могу разговаривать, не чувствуя, что трачу время зря. Она умна. Не в том смысле, в каком в России говорят «умная женщина» (подразумевая: «не красивая, зато полезная», — одна из самых тошнотворных конструкций русского языка, примерно на уровне «для женщины вы неплохо разбираетесь»). Лена умна в единственном смысле, который имеет значение: она понимает, о чём думает. Большинство людей, включая физиков (особенно физиков), понятия не имеют, о чём думают. Они оперируют формулами, как жонглёр — булавами: красиво, быстро, но если спросить, что именно он подбрасывает, он остановится и всё уронит.

— Ты опять не спал, — сказала она, не оборачиваясь.

У Лены есть эта способность — определять моё состояние по звуку шагов. Я подозреваю, что в прошлой жизни она работала в контрразведке. Или ветеринаром. (Разница, если подумать, невелика: и те и другие имеют дело с существами, которые не могут объяснить, что у них болит, и оба вынуждены догадываться по внешним признакам.)

— Я спал.

— Так дышат люди, которые в три ночи допрашивали собственный ноутбук.

— Ноутбук отказался сотрудничать.

— Пятая поправка?

— Хуже. Он показал мне что-то, чего не должен был показать, а потом сделал вид, что ничего не было.

Она не улыбнулась. Значит, серьёзно.

\* \* \*

Кубит — это квантовый бит. Единица информации, которая, в отличие от обычного бита (ноль или один), может находиться одновременно в обоих состояниях. Это называется суперпозиция, и если вы думаете, что это бред, — поздравляю, вы в хорошей компании: Эйнштейн тоже так думал, а потом выяснилось, что бредит вселенная.

Мы с Леной работаем с кубитами второй год. Строим квантовый процессор. Точнее, пытаемся: построить квантовый процессор в России — это примерно как варить суп в дуршлагае. Теоретически возможно. Практически — всё утекает: деньги, люди, кубиты, надежда, — примерно в этом порядке.

Так вот. Вчера наши кубиты сделали нечто, чего делать не должны. Они вели себя — единственное слово, которое приходит в голову — *уклончиво*. Как будто знали, что за ними наблюдают, и менялись в *ответ*. На меня.

Разница между «наблюдатель влияет на квантовую систему» и тем, что я видел вчера, — примерно такая же, как разница между «кошка вас игнорирует» и «кошка посмотрела вам в глаза и медленно столкнула вашу кружку со стола». Первое — физика. Второе — личное.

— Глянь, — я повернул к ней экран. — Серия три-восемнадцать.

Лена подъехала на кресле. Её манера смотреть на данные — это отдельный жанр перформанса: голова чуть набок, глаза прищурены, губы сжаты. Инквизитор, изучающий показания еретика.

— Флуктуация.

— Четырнадцать раз подряд.

— Бывает.

— Лен. Ты знаешь, что бывает четырнадцать раз подряд? Знаешь, какова вероятность? Один к шестнадцати тысячам. Одна шестнадцатитысячная. Это меньше, чем вероятность того, что тебя ударит молния. Дважды. В один день.

— Но не ноль.

— Формально — нет. Формально и вероятность того, что все молекулы воздуха в этой комнате одновременно соберутся в левом углу и мы задохнёмся, — тоже не ноль. Но мы почему-то не сидим в кислородных масках.

Пауза. Пауза — это когда Лена подбирает слова, а Лена подбирает слова только тогда, когда первые десять вариантов были «Дан, ты спятил», и она ищет одиннадцатый, помягче.

— Дан. Мы не идём туда.

— Куда — туда?

— Туда, где физик публикует статью о том, что кубиты реагируют на его намерение. Туда, где рецензенты смеются так, что у них выпадают зубы. Туда, где мы через год работаем в школе, объясняя десятиклассникам закон Ома.

Убедительно. Страшно. И — мимо, потому что я не про публикацию. Я про то, что мои данные ведут себя так же, как моя жизнь: показывают что-то невозможное, а потом делают вид, что ничего не было. Но этого я не сказал. Я сказал:

— Забудь. Перезапустим серию.

\* \* \*

В полдень пришёл Гриша Белов.

Гриша — аспирант, двадцать три года, теоретическая физика. Если бы энтузиазм был топливом, Гриша мог бы обогреть Саратовскую область. К сожалению, в науке энтузиазм — это вид психического расстройства, социально одобряемый до тех пор, пока не начинаешь приносить результаты. (Результаты — это когда от энтузиазма остаётся только пепел и публикация на четырнадцать страниц, которую прочитают семь человек, трое из которых — рецензенты, и двое из них — враждебно настроены.) Но Гриша был ещё на стадии топлива: горел ровно и ярко, и от его вопросов хотелось одновременно обнять его и выкинуть в окно (седьмой этаж, без лифта, лирическая справедливость).

Он влетел без стука — стучать для Гриши примерно то же, что для торнадо: необязательно и физически бессмысленно, — и выпалил:

— Рейнов! Цюрих! Нелокальные корреляции! В макрообъектах!

Он разговаривал восклицательными знаками. Как телеграфист, только вместо точек и тире — точки и восклицания.

— Видел, — сказал я.

— И?!

— И жду воспроизведения. Другая группа, другая установка.

— Это называется «занудство».

— Это называется «наука». К сожалению, это синонимы.

Он ушёл обиженный. Задел планшетом дверной косяк (каждый раз; я начинаю подозревать, что это ритуал).

Лена, не оборачиваясь:

— Жестковато.

— Честно.

— Одно и то же, когда тебе двадцать три.

Вот на этом месте у меня что-то сжалось внутри. От зависти. Натуральной, кислой, тошнотворной зависти к двадцатитрёхлетнему мальчишке, для которого вселенная — это рождественский подарок, а не посылка с надписью «ОСТО-

РОЖНО: НЕ ВСКРЫВАТЬ». Гриша бежит к тайне, как ребёнок к морю. Я от тайны бегу, как человек, который уже однажды тонул.

Разница — двенадцать лет и одна пропавшая мать.

\* \* \*

К шести часам данные вели себя безупречно.

Любой учёный скажет вам, что это хорошо. Я скажу вам, что это подозрительно. Наши кубиты *никогда* не ведут себя безупречно: у нас всегда фоновый шум, дрожание, дрейф — нормальный, объяснимый, как дыхание спящего. А сегодня — тишина. Абсолютная. Мёртвая.

Вчерашние аномалии — в логах. Сегодняшняя стерильность — на экране. Одно исключает другое. Это как если бы ваш сосед вчера всю ночь сверлил стену, а сегодня вы обнаружили, что стена гладкая, целая, и вообще никогда не была тронута. Именно так: никогда не была тронута. Как будто вчера не существовало. Или как будто кто-то аккуратно его подчистил.

Я произнёс про себя мантру: *устал, не спал, апофения, иди домой*.

Слово «апофения» — одно из лучших изобретений психиатрии. Оно означает «склонность видеть закономерности там, где их нет». Гениальность термина в том, что он одновременно описывает состояние и закрывает любую дискуссию. Стоит вам сказать «я вижу закономерность в...», как ваш собеседник отвечает «апофения», и дальше говорить не о чем. Что в этом слове не учтено — так это возможность того, что закономерность *есть*, а не видит её как раз ваш собеседник. Но для этого случая термина не придумали. Наверное, потому что тогда бы пришлось пересмотреть слишком много диагнозов.

\* \* \*

Я догнал Лену у входа. Она сражалась с зонтом. Зонт имел преимущество.

— Подвезти?

— До метро пройду с тобой. Если обещаешь не произносить слово «кубиты».

— А «квантовый»?

— Тоже нет.

— «Корреляция»?

— Дан.

— Хорошо. Поговорим о погоде. Она ужасна.

— Наконец-то нормальный разговор.

Мы пошли по Вавилова. Ноябрь. Москва. Шесть вечера. Это значит, что вокруг — какое-то альтернативное агрегатное состояние мрака: ощущение, что кто-то в мироздании нажал «уменьшить яркость» и забыл палец на кнопке. В воздухе

висела водяная пыль — влажность, которая по каким-то своим причинам решила стать вертикальной. (В Москве с октября по апрель дождя не бывает. Бывает вот это.)

Лена рассказывала про конференцию в Казани. Я кивал и смотрел на город. Фонари, машины, люди, зонты. Нормальный мир. На месте.

Потом я это почувствовал.

Представьте, что вы слушаете оркестр. Сто музыкантов, каждый играет свою партию, и всё вместе складывается в музыку. Вы не слышите отдельные инструменты — вы слышите *целое*. И вдруг в это целое вплетается нота, которой быть не должно. *Лишняя*. Она вообще не из этого зала. Она откуда-то *снаружи*.

И всё ваше тело — мышцы, кожа, позвоночник — хочет от этой ноты отодвинуться. Потому что оно понимает то, чего не понимает голова: эта нота — это дыра в *мире*.

Мы подходили к перекрёстку. Зелёный свет. Люди шли. Лена шагнула с тротуара.

Я схватил её за рукав и дёрнул. Тело сделало это за полсекунды до того, как мозг понял, зачем.

— Какого чёрт—

Фура.

Молча. Тяжело. Без гудка. Полметра. Ветер в лицо. Мокрый асфальт зашипел, как сковорода.

Потом — где-то дальше — удар, скрежет, крики. Фонарный столб. Водитель за рулём. Жив. Толпа. Телефоны. Кто-то снимает видео (стандартная реакция Homo sapiens двадцать первого века на близкую смерть: заснять, выложить, собрать сердечки; антропологи будущего рыдали бы, если бы у них были слёзные железы, но я подозреваю, что у антропологов будущего не будет).

Лена. Белая. Вцепилась в рукав. Пять секунд тишины.

— Откуда ты знал?

Я смотрел на фуру.

— Дан. Откуда ты знал?

Повернулся. Посмотрел ей в глаза.

Я не видел фуру, Лена. Фуры не было видно. Она вылетела из-за поворота, и мы оба это знаем. Я видел другое. За две секунды до — пространство впереди нас *собралось*. Как будто перекрёсток был конструкцией, и в этой конструкции появилась дыра. Чёрная, рваная, неправильная. Из неё тянуло тем самым — лишней нотой, чужим воздухом, сквозняком из ниоткуда. Моё тело это поняло. Моя рука дёрнула тебя.

Разумеется, я этого не сказал.

— Периферическое зрение, — сказал я. — Свет фар. Краем глаза.

Мы оба знали, что фар не было. Но цивилизация держится на способности двух умных людей совместно игнорировать очевидное. Мы это делаем каждый день — с политикой, с экологией, с фактом собственной смертности. Одним вражём больше, одним меньше — конструкция выдержит.

— Ладно, — сказала Лена.

Мы дошли до метро. У входа она обернулась.

— Спасибо, Дан.

— Угу.

— И... может, поговори с кем-нибудь? Не в смысле... ну. Ты понимаешь.

Замечательная формулировка. «Поговори с кем-нибудь.» «Сходи к психиатру» — грубо. «Тебе нужна помощь» — прямо. А «поговори с кем-нибудь» — это такой русский эвфемизм, одновременно выражающий заботу и снимающий с себя ответственность. «Поговори с кем-нибудь» — то есть с тем, кто за это получает деньги.

— Я в порядке, Лен.

Она ушла. Не поверила, разумеется.

\* \* \*

Я сидел в машине и не заводил мотор.

Есть такое состояние — после адреналина. Адреналин уходит, и вместо него приходит ясность. Не хорошая, не тёплая. Клиническая. Как свет в прожекторской: видно всё, и ничего из увиденного не хочется видеть.

Я видел шов. Не первый раз.

Первый раз — мне было семь. Кухня, карандаши, рисунок (дом, забор, дерево, солнце с лучами — стандартный набор, одобренный детскими психологами; если бы я нарисовал дом без окон, меня бы отправили к другому специалисту, но я нарисовал окна, и это спасло меня от ранней диагностики). Я рисовал — и вдруг заплакал. Без перехода. Без причины. Папа: «Что случилось?» Я: «Мама ушла». Он: «Она на работе, приедет вечером».

Не приехала. Ни вечером, ни вообще. Несчастный случай. Тело не нашли. Дело закрыто. Мне было семь, и я слушал всё это из-за двери, сидя на полу в коридоре и обнимая мамины тапочки. Тапочки были тёплые. Они пахли домом. Мне казалось: если я буду держать их достаточно крепко, она вернётся за ними.

Она не вернулась.

(Двадцать один год. Мне до сих пор иногда снится запах этих тапочек. Мозг — удивительная машина: он забывает формулы, которые учил неделю, но помнит запах домашних тапочек через двадцать один год. Может быть, потому что формулы описывают мир, а запах является миром. Но это уже философия, а философия — это то, чем занимаются физики, когда эксперимент не работает.)

С тех пор — раз в несколько месяцев. Всегда одинаково. Сначала — мир на секунду становится *тонким*. Как бумага на просвет: видно, что за ней — что-то. Потом — шов. Быстрый, на периферии зрения. Достаточно, чтобы дёрнуться. Недостаточно, чтобы понять.

В двенадцать лет отец отвёл меня к психиатру. Дед на Баррикадной, кабинет с фикусом, диплом на стене, ручка за ухом. Он слушал меня пятнадцать минут (я засёк), потом написал рецепт. Я перестал рассказывать. Не перестал видеть. Разница между «вылечить» и «заткнуть» — это разница между хирургией и пластырем. Но пластырь дешевле, и его можно выписать за пятнадцать минут.

В шестнадцать я нашёл *своё* объяснение. Канеман. Быстрая бессознательная обработка данных. Мозг считывает тысячи микросигналов и выдаёт «предчувствие». Никакой мистики. Чистая нейробиология.

Я жил с этим объяснением двенадцать лет. Оно было удобным, рациональным, элегантным и — как любая по-настоящему хорошая ложь — абсолютно безупречным до тех пор, пока ты не задаёшь уточняющий вопрос.

Уточняющий вопрос: какие «микросигналы» мог считать семилетний ребёнок за сутки до события, из другого конца города, через карандашный рисунок дома с забором?

Двенадцать лет я не задавал этот вопрос. Сегодня он задал себя сам.

Я завёл машину.

По радио — прогноз: минус два, снег, северо-западный. Нормальный мир. Все живы. Фура в столбе. Водитель цел. Всё хорошо.

На выезде с парковки три светофора мигнули — слева направо, волной. Щёлк. Щёлк. Щёлк. Как будто кто-то проверял, работают ли.

Моргнул. Красный, красный, красный. На месте.

Я поехал домой, думая о том, что «нормальность» — это диагноз. Его не ставят, потому что он у всех. А что у всех — то называется нормой. Идеальная круговая логика. Аристотель бы оценил.

\* \* \*

Квартира. Шаболовка. Однушка. Четвёртый год. Книги (прочитана треть), монитор (стоит дороже всего остального), кружка с отбитой ручкой (не выбрасываю; причина — предмет отдельного психоаналитического расследования, которое я не собираюсь проводить).

На кухонном столе — фотография. Бумажная, с загнутым уголком, прислонённая к солонке. Женщина с тёмными волосами. Глаза — такие, как будто она смотрит *сквозь* камеру. На что-то за спиной фотографа. Или за спиной фотографии. Или за спиной реальности вообще.

Мама. Ирина Рейнова. Пропала без вести. Двадцать один год.

Я стоял у окна с чаем и думал.

Строго говоря, у меня два варианта.

Первый: я — хорошо тренированный невротик с апофенией и быстрым подсознательным процессором. Мне нужен нормальный психиатр — моложе пятидесяти, без фикуса и с пониманием того, что феназепам — не ответ на вопрос «почему я вижу то, чего не вижу».

Второй: я вижу что-то настоящее. Не будущее, не духов, не карту Таро в формате 4К. Что-то в устройстве самих событий — в том, как они сделаны. И тогда моё объяснение про Канемана — это наркоз. А наркоз — штука конечная.

Телефон.

*«Добралась. Спасибо ещё раз. Серьёзно, Дан — поговори с кем-нибудь. Лен»*

Я не ответил. Потому что единственный честный ответ был бы: «Лен, мне не с кем говорить. Тот, с кем имело бы смысл, должен видеть то же, что и я. А таких, судя по всему, не существует».

Хотя — откуда мне знать? Может, нас полгорода. Может, вся Москва лежит сейчас в темноте и думает: «почему мне кажется, что мир монтируется на ходу?» Но каждый молчит, потому что уверен, что он один такой. А молчание — это ведь тоже форма коллективного договора: мы все согласились не замечать того, что замечаем, и называть это «нормальностью».

Мысль была дурацкая. Но она не уходила. Устроилась в углу сознания, как бездомный кот: ты его покормил один раз, и теперь он здесь живёт. Ты это знаешь. Он это знает. Делать с этим вы оба ничего не собираетесь.

Я выключил свет. Лёг.

Мне снился перекрёсток. Все светофоры горели зелёным. Все машины ехали во всех направлениях одновременно и проходили друг сквозь друга, как голограммы. Или как мысли. Или как события, которые ещё не решили, произойти им или нет.

Посреди перекрёстка стоял человек. Я не видел лица, но знал — он смотрит на меня. И знает меня. Давно.

Он сказал — или подумал, или просто *был* этой мыслью:

«Хватит».

Одно слово. Без продолжения.

Я проснулся в четыре утра. За окном — снег. Первый в этом году. Тихий, вертикальный. Он ложился на город, как белый шум на сигнал, и я лежал в темноте и думал: хватит — это что? Хватит притворяться? Хватит бояться? Хватит жить?

Ответа не было. Что, в общем, хуже всего, потому что на конкретный вопрос можно дать конкретный ответ, а на неконкретный — только лежать в четыре утра и слушать, как снег шуршит по подоконнику, и думать: может быть, мама видела то же самое. Может быть, она тоже лежала вот так. И в какой-то момент встала и

пошла. К. К тому, что видела. К тому, что не могла больше не видеть.

И не вернулась.

Я закрыл глаза. Попытался заснуть.

Не смог.

## Глава 2

# То, чего не бывает четырнадцать раз подряд

Следующие три дня я провёл в состоянии, которое психологи называют «когнитивным диссонансом», а нормальные люди — «ебал я так жить, но вариантов нет».

Кубиты вели себя прилично. Лена не задавала вопросов. Лифт не работал. Кофемашина чередовала периоды жизни и смерти с частотой, которую я от скуки попытался описать синусоидой (не получилось: R-квадрат 0,41 — даже кофемашина в нашем институте не подчиняется математике). Вселенная вернулась к заводским настройкам, и я решил, что, может быть, всё-таки первый вариант: я невротик с апофенией, мне нужен хороший психиатр и регулярное питание.

Потом наступил четверг, и первый вариант закончился.

\* \* \*

Я проснулся на полу в коридоре.

Позвольте, я повторю для тех, кто читает невнимательно (включая меня, перечитывающего этот блокнот): я проснулся на полу. В коридоре. Между вешалкой и дверью в ванную. В трусах и одном носке (левом; куда делся правый — одна из тех загадок мироздания, которые, в отличие от квантовой запутанности, действительно не имеют решения). С подушкой, которую я, видимо, прихватил с собой, как четырёхлетний ребёнок прихватывает плюшевого медведя, — только мне двадцать восемь, и плюшевого медведя у меня нет с тех пор, как отец решил, что мальчик моего возраста должен обходиться без мягких игрушек. (Мне было шесть. Медведя звали Профессор. Я его до сих пор не простил.)

Последнее, что я помнил, — это как лежал в кровати и считал трещины на потолке. Одиннадцать. Я пересчитал их трижды, потому что если есть вещь, которую я умею делать хуже всего в жизни, — это отключать мозг перед сном. Другие люди считают овец. Я считаю трещины, формулы, варианты катастрофических сценариев и количество дней, прошедших с последнего звонка отцу (восемнадцать; мы просто устали друг от друга, как устают два человека, которые любят друг друга, но совершенно не умеют об этом говорить).

Зеркало в коридоре показало мне человека, которого я бы побоялся встретить в тёмном переулке. Непредсказуемого. У него были глаза человека, который давно не спит и давно не уверен, зачем просыпается.

Лунатизм — сказал бы невролог. Бывает при стрессе. У меня было такое в детстве: отец рассказывал, что я однажды встал, дошёл до кухни, открыл холодильник, постоял перед ним минуту, закрыл и вернулся в кровать. Отец решил, что я хотел есть. Я, когда узнал, решил, что проверял, на месте ли холодильник. Разница в интерпретации — это, по сути, разница между физиком и нормальным человеком. Нормальный человек объясняет поведение мотивом. Физик — сомневается в стабильности окружающей среды.

Но потом случилось кое-что, из-за чего лунатизм стал наименьшей из моих проблем.

\* \* \*

Я стоял в душе. Вода текла по спине. Мозг ещё не загрузился (первые десять минут после пробуждения я функционирую примерно на уровне тостера: могу выполнить одну операцию, но осмысленную деятельность лучше отложить).

И вдруг я увидел свою лабораторию.

*Увидел.* Буквально. Как будто кто-то переключил канал: только что был кафель, пар и звук воды — и вот уже три монитора, синий свет экранов и мой рабочий стол. На экране — график, которого вчера не было: синяя линия, экспоненциальный рост, потом — обрыв. Именно обрыв: линия идёт вверх и прекращается, как будто кто-то ножницами отрезал продолжение.

Длилось это полторы секунды. Потом — кафель, пар, вода.

Я стоял, вцепившись в смеситель, с закрытыми глазами. Сердце стучало. Вода текла. Мир был на месте.

Тут нужно сделать одно важное замечание о природе галлюцинаций (или, если хотите, видений — разница между ними, строго говоря, определяется социальным статусом того, кто их испытывает: если вы — святой, это видение; если вы — кандидат наук на Шаболовке, это галлюцинация). Так вот, о природе. Галлюцинация, по определению, — это восприятие того, чего нет. Вы видите паука на стене, паука нет, вы галлюцинируете. Просто.

Но что, если вы видите паука на стене, а потом приходите на работу и обнаруживаете паука на стене?

Это — что-то другое. И для этого другого у психиатрии пока нет термина, потому что психиатрия, как и любая уважающая себя наука, работает только с теми явлениями, для которых у неё есть ящик. Нет ящика — нет явления. Изящно. Эффективно. Абсолютно бесполезно.

\* \* \*

Я доехал до института за двадцать три минуты (пробки в Москве в ноябре — это отдельный вид медитации: вы сидите, не двигаетесь, ни на что не влияете, и единственное, что вам остаётся, — это наблюдать за своими мыслями; если Будда когда-нибудь жил в Москве, он достиг просветления на Третьем кольце в час пик).

Поднялся на седьмой этаж. Включил мониторы. Открыл ночные логи.

Синяя линия. Экспоненциальный рост. Обрыв.

Тот самый график. Тот, который я видел в душе сорок минут назад.

Знаете, что самое страшное в подтверждении невозможного? То, что мозг всё равно пытается объяснить. Он физически не может принять: «это невозможно, но это произошло». Он начинает крутить: может, ты видел похожий график раньше и забыл. Может, подсознание экстраполировало тренд. Может, ты ещё спишь. Может, это дежавю.

Мозг — это, по сути, машина для объяснений. Он ищет *версию*, которая позволит ему продолжать работать. Как операционная система, которая при сбое генерирует сообщение об ошибке, логирует его и едет дальше. Синий экран смерти — это отчёт о том, что смерти удалось избежать. Пока.

Я сидел перед экраном и впервые в жизни не хотел знать ответ.

\* \* \*

— Аппаратный сбой, — сказала Лена.

Она стояла за моим плечом, смотрела на тот же график и уже всё решила. Вот что мне нравится в Лене (и одновременно бесит): она никогда не паникует. Ей можно показать уравнение, из которого следует, что Вселенная закончится через вторник, и она скажет: «Проверь граничные условия».

— Экспоненциальный рост когерентности в закрытой системе. Физически невозможен. Значит, ошибка.

— А обрыв?

— Переполнение буфера. Или сброс при выходе за предел шкалы. Вызови Серёжу.

Серёжа — наш инженер. Человек, способный починить адронный коллайдер изолянтной, тремя матерными словами и паяльником, который он носит в нагрудном кармане, как другие носят ручку. (Я однажды спросил его, зачем паяльник в кармане. Он посмотрел на меня, как на слабоумного, и ответил: «А у тебя нет?») Вопрос был закрыт.) Если проблема в железе — Серёжа найдёт. Если проблема не в железе — Серёжа всё равно найдёт что-нибудь, потому что в нашем институте *всегда* есть что починить, и это наполняет его жизнь смыслом, который остальным из нас приходится искать в публикациях.

Серёжа проверил датчики. В порядке.

Лена проверила калибровку. В порядке.

Я проверил код. В порядке.

Мы перезапустили серию три раза. Результат — стабильный, нормальный, скучный. Как вчера. Аномальный график стоял в ночных логах один, как граффити на стене храма: неуместный, необъяснимый и чем-то оскорбительный для окружающей архитектуры.

— Одиночный артефакт, — объявила Лена. — Не воспроизводится. Значит, не существует.

Вот. Вот здесь, на этом месте, мне хочется остановиться и поговорить кое о чём важном. Не о кубитах, не о графиках, не о моих проблемах с восприятием реальности. О науке.

«Не воспроизводится — значит, не существует.» Это фундаментальный принцип научного метода. Краеугольный камень. Святая святых. Любой физик произносит эту фразу с тем же почтением, с каким верующий произносит «Символ веры».

И это — если задуматься — самый элегантный способ, который человечество придумало, чтобы *не заметить* то, что не укладывается в картину мира.

Подумайте. Ваша первая любовь не воспроизводится. Момент вашего рождения не воспроизводится. Ваша смерть — уж точно — не воспроизводится. Но попробуйте сказать, что их не существует. Вся ваша жизнь — одиночный артефакт: однократное, невозпроизводимое событие, которое по строгим научным критериям *не имеет статистической значимости*.

Наука, по сути, — это договор: мы занимаемся только тем, что повторяется. Всё остальное — не наше. Поэтому наука прекрасно описывает законы, по которым падают яблоки, но совершенно беспомощна перед вопросом, зачем вы полезли на эту яблоню. Законы — воспроизводимы. Смысл — нет. Следовательно, смысла не существует. Q.E.D. Аплодисменты, Нобелевская премия, банкет.

Но я отвлёкся. Вернёмся к моим кубитам, которые тоже, по-видимому, не существуют.

\* \* \*

В обед я вышел на улицу. Мне нужно было перестать находиться внутри здания, в котором стоит оборудование, которое показывает мне вещи, которые я видел до того, как их увидел. (Перечитал предложение. Три вложенных придаточных. Рекурсия. Может быть, это и есть структура моей проблемы — бесконечная вложенность, которая в какой-то момент начинает пожирать саму себя.)

Кофе в будке на углу. Настоящий, без привкуса бюджетных ограничений и сломанных мечтаний. Лавочка в скверике. Ноябрь перестал притворяться осенью и начал репетицию зимы: деревья стояли голые, лужи подёрнулись тонким

льдом, а воздух имел ту специфическую московскую свежесть, от которой хочется эмигрировать.

Я сидел, пил кофе и пытался не думать. Получалось плохо. «Не думать» — это как «не чесать»: сама попытка усиливает зуд. Буддисты утверждают, что можно достичь состояния «не-ума». Я утверждаю, что буддисты не работали с квантовыми вычислениями.

Ладно. Факты.

Факт первый: я вижу, как события «собираются», раньше, чем они происходят. Подтверждено: фура на перекрёстке. Свидетель: Лена Маркова, кандидат наук, вменяемая.

Факт второй: я увидел график в душе за сорок минут до того, как обнаружил его в данных. Свидетели: отсутствуют. Но данные — вот они.

Факт третий: частота растёт. Раньше — раз в несколько месяцев. Теперь — два раза за четыре дня. Если построить экстраполяцию (занятие бессмысленное, но физики не умеют не экстраполировать — это как просить кошку не ловить мышей: она понимает, что вы говорите, но считает вашу просьбу абсурдной), — если построить экстраполяцию, то через две недели я буду видеть сборку событий в реальном времени. Постоянно. Всё.

Мне стало холодно. Ноябрь был ни при чём.

— Извините, здесь занято?

\* \* \*

Я поднял глаза.

Девушка. Лет двадцать четыре-двадцать пять. Тёмные волосы, чёлка, глаза — большие, тёмные, с выражением, которое я не смог прочитать (а я обычно читаю людей неплохо; профессиональная деформация: если ты двадцать лет прячешься от окружающих, что видишь невозможные вещи, ты учишься читать лица). Пальто слишком тонкое для ноября. В руках — блокнот. Бумажный.

В двадцать шестом году бумажный блокнот — это или хипстерская аффектация, или симптом. Третьего не дано. Хотя нет, есть третье: человек, которому есть что записывать, и он не хочет, чтобы это попало в облако. Что, если подумать, тоже симптом — только другого заболевания.

— Свободно, — сказал я.

Она села рядом. В полуметре, вопреки неписаному уставу московского общественного транспорта и городской мебели (параграф 3, пункт 7: «Незнакомые люди обязаны сидеть на максимальном расстоянии друг от друга; нарушение карается взглядом»). Как будто личное пространство — это концепция, с которой она знакома, но которую не считает обязательной. Примерно как я отношусь к правилам дорожного движения.

Мы сидели молча. Она рисовала в блокноте — быстро, мелко. Я пил кофе и думал о том, что ещё неделю назад я был нормальным невротиком с управляемым набором проблем, а теперь я — невротик, который видит будущее в душе. Прогресс.

Потом она сказала:

— У вас интересное поле.

Я повернулся.

— Простите?

— Поле. — Она не подняла глаз от блокнота. — Вокруг вас. Колючее. Как будто вы пытаетесь быть меньше, чем есть.

Существует набор слов, услышав которые от незнакомого человека на улице, вы должны немедленно встать и уйти. «Поле» — одно из них. Рядом с «энергия», «вибрации», «чакры» и «а вы слышали о нашем Господе?» Это слова-маркеры: они сообщают, что перед вами человек, живущий в реальности с другими правилами, и что пересечение ваших реальностей чревато потерей времени, денег или психического здоровья.

Я должен был встать. Я не встал.

Потому что «пытаетесь быть меньше, чем есть» — это точный, болезненный, хирургический диагноз. Именно это я делаю всю жизнь. Именно это. Быть меньше. Видеть — и не видеть. Знать — и не знать. Чувствовать — и делать вид, что не чувствую. Двадцать один год я *сжимаюсь*, чтобы влезть в мир, который мне мал, и она назвала это одной фразой.

— Я не верю в «поля», — сказал я. Автоматически. Как автоответчик.

Она подняла глаза. Посмотрела.

Я не буду описывать её взгляд, потому что любое описание будет пошлым. «Глубокие глаза», «проникновенный взгляд», «окна в душу» — весь этот литературный хлам, от которого хочется выть. Скажу одно: у большинства людей взгляд — это поверхность. Вы смотрите им в глаза и видите глаза. У неё взгляд был — проём. За ним было пространство. Много пространства.

— Вы учёный? — спросила она.

— Физик.

— Квантовая?

— Да.

— Тогда вы знаете, что наблюдатель влияет на систему. — Она чуть улыбнулась. — Просто вы думаете, что это работает только в лаборатории.

Пауза. Моя пауза. Потому что она только что описала мою проблему точнее, чем я сам за двенадцать лет.

— А вы... — начал я.

— Никто, — она закрыла блокнот. — Я просто вижу вещи. Как вы. Только я

давно перестала делать вид, что не вижу. Экономит нервы. Портит социальную жизнь, но экономит нервы.

— Откуда вы знаете, что я...

Она наклонила голову. Посмотрела на меня с выражением, которое я классифицировал бы как «снисходительное сочувствие» — примерно так ветеринар смотрит на собаку, которая принесла палку и ждёт похвалы, не понимая, что палка — это не достижение.

— Таких, как вы, видно, — сказала она. — Вы все одинаковые. Ходите осторожно, как будто пол может провалиться. Всё время проверяете, настоящие ли предметы. Пересчитываете трещины на потолке.

Одиннадцать. Она не могла этого знать.

— И все вы делаете одно и то же, — продолжила она, вставая. — Находите объяснение и прячетесь за ним. Канеман, микросигналы, бессознательная обработка данных. Наркоз. — Она застегнула своё нелепое тонкое пальто. — Только наркоз — штука конечная. А то, что под ним, — нет.

— Подождите. — Я тоже встал. — Как вас зовут?

— Зоя.

— Зоя, откуда вы...

— Это неважно. Важно другое. — Она смотрела на меня серьёзно, почти жёстко. Без улыбки, без мистики, без «аура» и «вибрации». Как врач, который говорит правду, потому что враньё уже бесполезно. — Вам придётся выбрать. Скоро. Перестать видеть — или перестать притворяться. Третьего не будет.

И ушла.

Просто ушла. Через сквер, мимо голых деревьев, в ноябрьскую муть. Без телефона, без визитки, без ссылки на телеграм-канал «Пробуждение квантового Я». Что, надо признать, было первым аргументом в её пользу.

На лавочке лежал её блокнот. Она его оставила. Случайно? Нарочно? В мире, где события «собираются», эти слова, возможно, означают одно и то же.

Я взял блокнот. Раскрыл. На последней странице — рисунок. Линии, узлы, пересечения. Структура. Что-то среднее между схемой нейронной сети и картой звёздного неба, нарисованной человеком, который видел звёзды *изнутри*.

\* \* \*

В лаборатории я спрятал блокнот в ящик стола. Мы с Леной запустили новую серию. Стандартный протокол, скука, рутина. Серёжа ушёл на обед (у Серёжи обед — это понятие растяжимое; он может есть сорок минут, а может — два часа, если по дороге встретит что-нибудь, требующее ремонта; однажды он чинил лифт три с половиной часа и вернулся счастливый, с маслом на лбу и заявлени-

ем, что «теперь будет ездить»; лифт поехал. Один раз. Потом снова сломался, но Серёжа сказал: «Значит, не хочет», — и вопрос был закрыт).

Двадцать минут нормальной работы. Кубиты делали то, что кубитам полагается: когерировали, декогерировали, коллапсировали — весь положенный репертуар. Я расслабился. Может быть, впервые за неделю.

На двадцать первой минуте я подумал о блокноте Зои.

Случайно. Мысль проскочила — как бывает: ты думаешь о работе, и вдруг мелькает образ, не имеющий отношения к делу. Лицо из толпы. Запах. Узор из блокнота — линии, узлы, пересечения.

Когерентность системы подпрыгнула на восемнадцать процентов.

Я не сразу понял, что произошло. Потом посмотрел на экран. Потом — на Лену. Лена смотрела на экран.

— Что ты сделал? — спросила она.

Голос ровный. Слишком ровный. Это плохой знак: когда Лена начинает контролировать интонацию, значит, внутри у неё примерно то же, что снаружи у извержения вулкана.

— Ничего.

— Восемнадцать процентов, Дан. За секунду. Без внешнего воздействия. Это не «ничего».

Я подумал о блокноте ещё раз. Осознанно. Целенаправленно. Линии, узлы, пересечения.

Когерентность дёрнулась. Плюс два процента.

Мы оба это видели. Один экран. Одни данные. Две пары глаз. Никакой возможности списать на глюк, субъективное восприятие, апофению, тревожность, микросигналы или любой другой наркоз из моей аптечки.

Тишина. Пять секунд.

— Наводка, — сказала Лена. Она уже проверяла экранировку. Руками. На ощупь. Как хирург, который не верит рентгену и щупает сам. — Электромагнитная наводка.

— Телефон на столе. Авиарежим. Часов нет. Наушников нет.

— Тогда что-то снаружи. Может, Серёжа внизу что-то включил.

— Серёжа на обеде.

Она проверила провода. Заземление. Охлаждение. Всё в порядке. Всё, разумеется, в порядке. Всё *всегда* в порядке. Это — главная особенность моей жизни: всё всегда в порядке, кроме результатов.

— Мы это не видели, — сказала Лена.

Тихо. Не мне. Себе.

— Лен...

Она повернулась. В глазах — что-то хуже страха: понимание. Она *поняла*, что

это не наводка. Она — умная, помните? Она *действительно* понимает, о чём думает.

— Дан. Грант. Рецензия. «Троицкий вариант». Ты понимаешь, что будет, если мы кому-нибудь скажем?

Я понимал.

Научная репутация — забавная вещь. Её строят десятилетиями: публикации, конференции, цитирования, рецензии. Кирпичик за кирпичиком, как стену. А потом один кирпич не того цвета — и стена рушится; оказывается, что она стояла только потому, что все договорились считать её стеной. Как только договор нарушен — всё. Ты не физик. Ты чудака. Ты тот парень, который «ловит телепатию в кубитах». Хуже уголовного дела: из тюрьмы выходят, из научного позора — нет.

— Хорошо, — сказал я. — Мы это не видели.

Мы работали до вечера молча. Кубиты вели себя безупречно.

Разумеется.

(И я подумал о другом Серёже. Не нашем — однофамильце, который ведёт YouTube-канал «Наука без магии». Триста тысяч подписчиков. Объясняет, что квантовые эффекты не масштабируются на макромир, сознание — эпифеномен нейронной активности, а всё, что нельзя измерить, не существует. Он прав. В рамках модели, которую ему дали в аспирантуре, — безупречно прав. Серёжа Волков — рыба, написавшая диссертацию о гидродинамике и теперь точно знающая, что воды не существует. Его подписчики пишут в комментариях: «спасибо, что открыли глаза!» Он дал им научное обоснование *не* открывать. За это действительно стоит ставить лайки.

Сегодня мы с Леной поставили себе такой же.)

\* \* \*

Вечером я сидел дома с блокнотом Зои и чаем, которого не чувствовал.

Рисунки. Страница за страницей. Те же элементы — линии, узлы, пересечения, — но в разных конфигурациях. Как буквы одного алфавита, складывающиеся в разные слова. Я не понимал языка, но чувствовал грамматику — это странное ощущение, когда смотришь на нечто незнакомое и точно знаешь, что оно *подчиняется правилам*, хотя не можешь назвать ни одного.

Посреди блокнота — текст. Мелкий, угловатый почерк, шариковая ручка:

*«События не происходят. События собираются. Сначала — форма. Потом — причина. Потом — факт. Мы видим факт и придумываем причину задним числом. А форму не видит никто. Почти никто.»*

Я прочитал это трижды.

Понимаете, проблема в том, что это было *точно*. Умных вещей полно — полки книжных (те, что ещё не закрылись) ломаются от умных вещей. А это было точно. Так — именно так — устроено то, что я вижу. Событие *строится*. Сначала появляется форма — каркас, чертёж, разметка. Потом — причина: мир подгоняет логическое обоснование под уже готовую конструкцию. Потом — факт: событие проявляется в реальности, и все думают, что оно «произошло». Как будто само. Как будто так и должно быть. Как будто причина *предшествовала* следствию и её не дорисовали задним числом.

Вот что я видел на перекрёстке. Форму. Каркас события, в котором была дыра. Вот что я видел в душе. Форму графика, который ещё не «произошёл».

Кто-то нарисовал это шариковой ручкой на мятой бумаге, в блокноте, оставленном на лавочке в ноябрьском скверике в Москве. И этот кто-то знал обо мне. И этот кто-то ушёл.

На секунду квартира вокруг меня мигнула. Сами стены. Как изображение на мониторе, когда видеокарта начинает умирать: всё на месте, но на долю секунды ты видишь пиксели. Видишь, что между ними — пустота. Что всё, на что ты смотришь, — это картинка. Изображение. Рендер.

Потом прошло. Стены на месте. Кружка на месте. Мамина фотография на месте.

Она тоже это видела?

Телефон. Незнакомый номер.

\* \* \*

— Даниил Рейнов?

Мужской голос. Спокойный. Русский язык безупречный, но — как бы это объяснить — с акцентом на уровне *мышления*. Как будто человек думает на языке, для которого русский — один из возможных интерфейсов. Один из.

— Кто это?

— Вы меня не знаете. Но я знаю вас.

— Если вы продаёте что-нибудь...

— Даниил. Я знаю про феназепам. Про психиатра на Баррикадной, кабинет с фикусом, пятнадцать минут. Про одиннадцать трещин на вашем потолке. Про фуру на Вавилова. Про график, который вы увидели в душе.

Тишина. Та тишина, которая бывает, когда мир вокруг тебя — тот самый, привычный, на-месте — тихо и необратимо сдвигается. Просто сдвигается. Как мебель в комнате: всё то же, но стоит чуть иначе, и от этого «чуть» — мурашки.

— Откуда вы...

— Наблюдение, Даниил. Долгое. Тщательное. — Голос — без извинения. Как врач, который зачитывает анализы: он не виноват в диагнозе, он его констати-

рует. — Вы — один из многих, кого мы находим. И — к сожалению — не каждого мы находим вовремя.

Пауза. Его. Весомая.

— Вы видите, как собираются события. Вы видели это с семи лет. Вам сказали, что вы больны. Вам дали таблетки. Вы перестали рассказывать. Но не перестали видеть.

Пауза. Моя. Потому что то, что он говорил, мог знать только я. Не отец (ему я перестал рассказывать в двенадцать). Не Лена (ей — никогда). Не психиатр (который слушал пятнадцать минут и выписал рецепт).

— Это — начало, Даниил. Не болезнь. Не баг.

— Начало чего?

— Этого я не скажу по телефону. Завтра. Двенадцать часов. Нескучный сад. Ротонда.

— С какой стати я должен...

— Вы не должны. Вы можете не прийти. Можете выбросить блокнот. Можете вернуться к Канеману, к апофении, к «статистической флуктуации». Пробки хватит ещё на какое-то время. — Пауза. — Но вы ведь уже знаете, что она не выдержит. Правда?

Он повесил трубку.

Я сидел с телефоном в руке. За окном шёл снег — медленный, вертикальный, равнодушный. Город белел, как чистая страница.

Нормальный человек на моём месте позвонил бы в полицию. Или другу. Или психиатру (нормальному, с другого конца Москвы). Нормальный человек решил бы: мошенник, сталкер, секта. Нормальный человек не поставил бы будильник на десять утра.

Но я — как уже было неоднократно сказано и неоднократно подтверждено — не нормальный человек. Я баг. Системная ошибка, которая двадцать один год делала вид, что она — фича.

И ещё: он сказал «начало». А мне двадцать один год никто не говорил, что это может быть *начало* чего-то. Все — от психиатра до Канемана — говорили, что это *конец* чего-то: здоровья, нормальности, карьеры. Что это нужно вылечить, подавить, объяснить, убрать.

А он сказал — начало.

Одно слово. И оно перевесило двенадцать лет феназепамы, апофении и «статистической флуктуации».

Я поставил будильник на десять. Лёг. Закрыв глаза.

Снег шуршал по подоконнику, как белый шум. Где-то внизу проехала машина. Город жил. Двадцать миллионов человек спали, не зная, что мир вокруг них собирается, как мебель из ИКЕА, — только инструкция написана на языке, которого

никто не читает.

Почти никто.

Я заснул.

Мне ничего не снилось. Впервые за неделю — ничего. Пустота. Тишина. Чистый экран.

Может быть, это и есть начало: момент, когда мир перестаёт тебе сниться и начинает с тобой разговаривать.

# Глава 3

## Должок

Нескучный сад в ноябре — это оксюморон. Всё в нём нескучно, кроме самого сада: голые деревья, мокрые скамейки, вороны, которые выглядят так, будто лично видели крах Советского Союза и с тех пор ни во что не верят. Единственное развлечение — бегуны. В Москве есть особая порода людей, которые бегают при минус двух в обтягивающих штанах и с выражением лица, которое говорит: «я страдаю, но это полезно». Философия стоиков, воплощённая в кроссовках за двадцать тысяч рублей.

Я пришёл на пятнадцать минут раньше. Из паранойи. Хотел осмотреться. Понять, во что ввязываюсь.

Ротонда — белая, круглая, классицистическая, — стояла пустая. Вокруг — никого, если не считать ворон (три штуки, на ветке над ротондой, смотрят вниз с выражением пожилых профессоров, оценивающих дипломную работу). Я сел на лавочку напротив. Достал телефон. Открыл новости. Закрыл новости. Открыл мессенджер. Закрыл мессенджер. Стандартное поведение человека, который ждёт и не знает, чего ждёт: симуляция деятельности с целью не сойти с ума от бездействия.

Без пяти двенадцать я понял, что за мной наблюдают.

Обычное, прозаическое, животное чувство: кто-то на тебя смотрит. Мышцы спины напрягаются. Шея хочет повернуться. Эволюция вшила это в нас за миллион лет саванны, где тот, кто не чувствовал чужого взгляда, долго не жил. Мы думаем, что живём в цивилизации, но наше тело до сих пор живёт в саванне. Разница между нами и древним человеком — примерно как между диким котом и домашним: тот же зверь, только в ошейнике с колокольчиком и на диете из корма премиум-класса.

Я повернулся.

Мужчина стоял в десяти метрах, у края аллеи. Он просто стоял и смотрел, даже не пытаясь спрятаться. Тёмное пальто, без шарфа, без перчаток. На вид — лет пятьдесят, может, чуть больше. Азиатские черты лица, размытые — что-то смешанное, неопределимое, из тех лиц, которые могут быть откуда угодно. Гладко выбрит. Коротко стрижен. Прямая спина, спокойные руки.

Всё это я зафиксировал за две секунды. Профессиональная привычка: когда ты двадцать лет живёшь, ожидая подвоха от реальности, ты учишься быстро оце-

нивать обстановку. Полезный навык. Бесплезная жизнь.

Но было кое-что ещё.

Вокруг этого человека не было сквозняка. Не было «лишней ноты». Не было никакого ощущения сборки, монтажа, черновика. Пространство вокруг него было... ровным. Спокойным. Настоящим. Как будто он стоял *на* мире — как якорь, вокруг которого всё остальное выстраивается.

Я такого раньше не чувствовал. Рядом с людьми — всегда шум. Мелкий, фоновый, привычный: мысли, эмоции, намерения, страхи — всё это создаёт рябь, как ветер на воде. Я к этому привык, как привыкаешь к уличному шуму, и перестал замечать. Но рядом с ним — тишина. Такая тишина, от которой понимаешь, как *громко* всё остальное.

Он подошёл. Сел рядом. Без спроса, без «извините», без «здесь свободно?» — как человек, который садится в своё кресло. Или на свою планету.

— Даниил, — сказал он. Констатация.

— Вы — тот, кто звонил.

— Да.

— И вы мне скажете, откуда знаете про феназепам?

Он чуть наклонил голову. Жест, который у обычного человека означал бы «любопытный вопрос», а у него означал — я потом пойму — «ты задаёшь неправильный вопрос, но я отвечу на него, потому что он приведёт тебя к правильному».

— Меня зовут Вэй, — сказал он. — Фамилия — Лин. Если вам нужна фамилия.

— Мне нужно объяснение. Кто вы? Как вы меня нашли? И зачем?

— Три вопроса. Давайте по порядку. Кто я — долгий разговор, и я предлагаю отложить его на потом. Как я вас нашёл — неправильный вопрос. Зачем — вот это правильный.

— Ладно. Зачем?

— Затем, что вы в ближайшие несколько недель либо сойдёте с ума, либо поймёте, что происходит. Третьего варианта нет. Я хотел бы, чтобы случилось второе.

Тут я должен был встать и уйти. Это — стандартная вербовка. Я читал про секты: незнакомец, который «всё про вас знает», обещает «ответы» и предлагает «помощь». Через полгода ты продаёшь квартиру и переводишь деньги на счёт в Панаме. Классика жанра. Глава первая: «тебя нашли». Глава вторая: «ты особенный». Глава третья: «подпиши здесь».

Но я не встал.

По двум причинам. Первая: он знал про феназепам, про трещины, про график в душе. Ни одна секта не обладает такими данными (по крайней мере, ни одна из тех, что я знаю; хотя, надо признать, мои знания о сектах ограничиваются документалкой Netflix и одним неудачным свиданием с девушкой, которая оказалась

адепткой «Расстановок по Хеллингеру» — впрочем, это отдельная история).

Вторая причина: тишина. Вокруг него было тихо. В неакустическом смысле — вороны продолжали каркать, бегуны продолжали страдать, Москва продолжала гудеть. Тихо было *внутри*. Рядом с ним мой вечный внутренний шум — это тревожное жужжание, которое я ношу с собой, как нижнее бельё, — вдруг стал заметен. Как привыкаешь к запаху собственного дома и перестаёшь его чувствовать, пока не выйдешь на свежий воздух, — так и с ним: я вдруг почувствовал, как *громко* живу. Как много шума создаю, просто существуя.

— Допустим, я слушаю, — сказал я. — Что происходит?

— Вы видите, как собираются события.

— Это я и сам знаю.

— Нет. Вы знаете, что *что-то* видите. Но вы не знаете, *что* именно.

Пауза. Он не торопился. Вообще. Как будто у него было бесконечное количество времени, и он мог позволить себе тратить его на мои вопросы.

(Потом я пойму, что это не «как будто».)

— Хорошо, — сказал я. — Что я вижу?

— Вы видите стек.

— Стек?

— Представьте, что реальность — это шесть вещей, уложенных друг на друга. Как этажи. Самый верхний — то, что видят все: физический мир, материя, энергия, пространство-время. Твёрдый, стабильный, убедительный. Это — интерфейс. Экран компьютера, если хотите.

— Если хочу — что?

— Если хотите аналогию. — Тень улыбки. Первая за весь разговор. — Физики любят аналогии.

— Физики любят *данные*.

— Тогда вот вам данные. Четыре дня назад вы увидели, как перекрёсток «собрался» за секунду до аварии. Вчера вы увидели график в душе за сорок минут до того, как он появился в ваших данных. Ваши кубиты реагируют на ваши мысли. — Он посмотрел на меня. — Это — вы начинаете видеть второй этаж, Даниил. Изнанку экрана. И никакой апофении тут нет.

Тут любой нормальный учёный сказал бы: «это ненаучная чушь». Любой нормальный скептик сказал бы: «докажите». Любой нормальный взрослый человек сказал бы: «покажите удостоверение».

Я сказал:

— Какой ещё второй этаж?

И по тому, как я это сказал, — «какой этаж, расскажите подробнее», — я понял, что уже принял решение. Где-то между феназепамом и этой лавочкой, между семилетним мальчиком с тапочками и двадцативосьмилетним физиком с блокно-

том, я уже решил: если кто-нибудь когда-нибудь скажет мне, что мир устроен не так, как все думают, я его выслушаю. Потому что «как все думают» — это вариант, в который я никогда по-настоящему не верил.

(Тут — отступление о бытовой вере. О той, которой мы пользуемся каждый день, не замечая. Вы верите, что стул, на который садитесь, — выдержит. Вы верите, что еда в холодильнике — не отравлена. Вы верите, что солнце завтра взойдёт. Ни одну из этих вещей вы не *проверяете*. Вы — *верите*. И называете это «здравым смыслом». А «здравый смысл» — это, по сути, набор непроверенных допущений, на которых стоит вся ваша жизнь. Как здание на сваях: каждая свая — непроверенная гипотеза, и если вдруг проверить хотя бы одну — и она окажется гнилой — *всё* поедет.

Вэй Лин только что предложил мне проверить сваю. Самую глубокую: «мир устроен так, как я думаю». И я — вместо того чтобы отказаться (потому что — кто проверяет сваи? зачем? стоит же!) — сказал: «давайте». Потому что у меня эта свая шаталась с семи лет. И двадцать один год притворяться, что она не шатается, — утомительнее, чем наконец посмотреть, что с ней не так.)

Вэй Лин посмотрел на меня. Долго. С выражением, которое было выражением отсутствия выражения: контролируемая нейтральность, за которой что-то вычислялось, оценивалось, взвешивалось.

— Вы когда-нибудь задумывались, — сказал он, — почему галактики по структуре похожи на нейронные сети?

— Это визуальное совпадение. Масштабная инвариантность. Фрактальные паттерны.

— Три ответа, ни один из которых не является объяснением.

Он был прав. И я это знал. «Масштабная инвариантность» — это описание факта, а не его причина. Это как если бы вас спросили, почему идёт дождь, а вы ответили: «потому что вода падает с неба». Верно. Бесполезно.

— Ладно, — сказал я. — А каков настоящий ответ?

— Настоящий ответ: они *являются* одной и той же структурой. Именно являются. Как мозг — нейронная сеть, и Вселенная — нейронная сеть. Факт, а не метафора. Один и тот же принцип организации на разных масштабах. И вы, Даниил, начинаете видеть этот принцип напрямую, без посредничества приборов.

Я молчал. Потому что в голове происходило нечто, для чего у меня не было слов. Как будто кто-то взял мозаику, которую я собирал двадцать лет, — куски, обрывки, осколки, — и повернул её на девяносто градусов. И вдруг стало видно, что это картина. Целая. Связная. Имеющая смысл.

Мать, которая «видела что-то» и не вернулась. Фура, которая «собралась» до того, как появилась. Кубиты, реагирующие на мысль. И всё остальное — блокнот, светофоры, семилетний мальчик, который знал.

Одна система. Один стек. И я — кто-то, кто начинает видеть, как она устроена.

Это было... знаете, что? Это было чем-то, для чего в русском языке нет хорошего слова, а в английском есть: *dread*. Священный ужас. Когда ты одновременно понимаешь, что нашёл ответ, и понимаешь, что ответ больше тебя.

Значительно больше.

Знаете, что интересно в слове «*dread*»? Оно — двустороннее. Вы — ужасаетесь ответу. Но — одновременно — вы — *не можете от него отвернуться*. Как автокатастрофа на встречной полосе: вы не хотите смотреть, но — смотрите. Потому что мозг — жадная машина: ему нужна информация. Даже та, которая его уничтожит. *Особенно* — та. Это, если подумать, главная конструктивная ошибка Homo sapiens: мы — единственный вид, который *хочет знать* то, что его убьёт. Каждый другой вид — убегает от опасности. Мы — бежим *к ней* — с блокнотом и карандашом. И записываем. До последнего.

(Серёжа бы сказал: «Это — фича. Просто — фича для пользователя, которого ещё не придумали». Серёжа — инженер. Инженеры верят в фичи. Физики — в баги. Разница — в оптимизме.)

— Допустим, — сказал я (и голос мой был ровным, потому что я физик, и физики умирают, но не показывают, что напуганы; это наша профессиональная гордость, бессмысленная и прекрасная, как всякая гордость). — Допустим, я вижу... стек. Допустим, это реально. Тогда что мне с этим делать?

— Учиться.

— Чему?

— Не ломаться.

Я посмотрел на него.

— Простите?

— То, что вы видите, Даниил, — это начальный уровень. Первый этаж из шести. Вы видите сборку событий — это минимум. Вроде того, как ребёнок начинает различать буквы: он ещё не умеет читать, но уже видит, что вывески — это слова, а узоры тут ни при чём. Вы на этой стадии.

— И?

— И эта стадия опасна. Потому что ваше сознание расширяется, а ваша способность с этим справляться — нет. Это как если бы ваш монитор вдруг начал показывать в десять раз больше пикселей, а видеокарта осталась прежней. Результат — перегрев. Артефакты. Глитчи.

— Лунатизм, — сказал я.

— Лунатизм, — кивнул он. — Спонтанные видения. Нарушение границ между «здесь» и «там». Потеря способности отличать воспоминание от предвидения. А потом — если не научиться — распад.

— Распад чего?

— Вас.

Одно слово. Оно повисло в воздухе и не уходило.

— Вашей матери, — продолжил он, — никто не объяснил. Она увидела стек — и не знала, что делает. Не знала, что ей нужна помощь. Не знала, что есть люди, которые могут научить. Она пошла к тому, что видела, — без подготовки, без проводника, без понимания.

— Вы знаете, что случилось с моей матерью?

Это вырвалось из меня — как выстрел. Двадцать один год. Тапочки в коридоре. Дело закрыто. Тело не нашли.

Вэй Лин посмотрел на меня. Впервые за весь разговор в его лице появилось что-то человеческое. Что-то более сложное, чем сочувствие. Как будто он знал ответ на мой вопрос, и этот ответ был такой, который нельзя дать сидя на лавочке в ноябрьском парке.

— Я знаю часть, — сказал он. — Остальное вы узнаете сами. Когда будете готовы.

— Я готов сейчас.

— Нет.

Одно слово. Без аргументов, без объяснений. Просто «нет». И что-то в том, как он это сказал, — с абсолютной, каменной уверенностью, без грубости, без снисходительности, — заставило меня замолчать. Как будто он точно знал, сколько правды я могу вместить прямо сейчас, и это количество было — не всё.

Минута тишины. Вороны каркали. Бегун пробежал мимо. Москва жила. Мир собирался вокруг нас, как обычно, — только теперь я видел это. Видел, как воздух между деревьями чуть иначе уложен, как свет падает «из» предметов, а пространство *порождает* вещи, ежесекундно, непрерывно.

Это длилось несколько секунд. Потом схлопнулось обратно в обычную картинку: сад, деревья, лавочка, человек рядом.

— Вы только что видели, — сказал Вэй Лин. — Второй этаж. На две секунды.

— Что это было?

— Стек. Без фильтра. Ваш мозг на мгновение перестал достраивать привычную картинку и показал вам то, что *есть*. Без интерпретации.

— И вы... вы это видите постоянно?

— Я вижу значительно больше, — сказал он. Без хвастовства. Как факт. Как «я ношу очки» или «я говорю по-китайски». — Но я этому учился. Долго. С помощью. И у меня были... — пауза, — ...те, кто объяснил.

— Академия, — сказал я.

Он повернулся. Впервые за разговор — удивление. Настоящее, непритворное, на долю секунды.

— Откуда вы знаете это слово?

— Не знаю. Оно... — Я замолчал, потому что не понимал, откуда оно взялось. Оно просто пришло. Как приходит слово, которое ты не учил, но которое всегда знал. Как мелодия, которую ты никогда не слышал, но можешь напеть с первой ноты. — Оно просто пришло в голову.

Вэй Лин смотрел на меня. И в его лице я увидел то, чего не ожидал увидеть: интерес. Живой, настоящий, с примесью чего-то, что я не мог определить.

(Потом, значительно позже, я пойму, что это было узнавание.)

— Академия, — повторил он тихо. — Да. Именно так. — Пауза. — Интересно, что вы это знаете.

— Я не знаю. Я угадал.

— Даниил. В стеке бывает — вспомнил. «Угадал» в стеке — это и есть «вспомнил».

Я хотел спросить, что это значит — «вспомнил». Что я мог вспомнить? Из какой жизни? Из какого слоя? Но он уже вставал.

— Этого достаточно для первого разговора, — сказал он. — Вы знаете, что не больны. Вы знаете, что видите стек. Вы знаете слово «Академия». Этого достаточно.

— Достаточно для чего?

— Для того, чтобы вы приняли решение.

— Какое?

— Прийти снова. Или не прийти.

Он достал из кармана визитку. Белую. На ней — только номер телефона. Ни имени, ни должности, ни логотипа. Самая пустая визитка, которую я видел в жизни.

— Если решите — позвоните. Если не решите — не звоните. Блокнот оставьте себе. Зоя оставила его вам, не мне.

— Вы знаете Зою?

— Зоя — это отдельный разговор.

Он развернулся и пошёл по аллее. Спокойно, не оглядываясь. Тёмное пальто среди голых деревьев. Вороны проводили его взглядами и промолчали. (Что, для московских ворон, — высшая форма уважения.)

Я сидел на лавочке, держал в руке белую визитку с одним номером и думал о том, что нормальный человек на моём месте решил бы: сумасшедший, аферист, сектант. И пошёл бы домой. И забыл бы. И жил бы дальше.

Но я — не нормальный. Это, к этому моменту, должно быть уже очевидно всем, включая меня.

Он сказал: «Ваша мать увидела стек и пошла к тому, что видела — без подготовки».

Двадцать один год. Тело не нашли. Дело закрыто.

А если не закрыто?

\* \* \*

Я просидел на лавочке ещё двадцать минут. Потом поехал домой. По дороге — ничего необычного: пробки, радио, снег. Обычный ноябрьский день в обычном городе обычной страны, которая, впрочем, никогда не была особенно обычной.

Дома я достал блокнот Зои. Достал визитку Вэй Лина. Положил рядом на стол. Посмотрел на мамину фотографию. Три предмета: блокнот, визитка, фотография. Три двери: в чужое знание, в чужой мир, в чужую (свою?) прошлую жизнь.

Потом я сделал то, что делает любой уважающий себя учёный, столкнувшись с непонятным: полез в интернет.

«Стек реальности» — ноль результатов, не считая программирования.

«Видеть, как собираются события» — статьи о тревожном расстройстве. Полезно, если ты хочешь подтвердить, что болен. Бесплезно, если ты хочешь понять.

«Академия» — пятьсот миллионов результатов. Ни одного полезного.

«Пробуждение сознания» — и вот тут Google расцвёл. Четырнадцать миллионов результатов. Марафоны, вебинары, ретриты. «Квантовый скачок сознания — первый модуль бесплатно!» «Разбуди свой потенциал за 21 день!» «Трансформация личности: от жертвы к творцу. Старт потока — понедельник.» Цены — от девяти до ста девяноста девяти тысяч рублей. Отзывы — с фотографиями на фоне Бали: загорелые люди в белом, с улыбками, которые говорят «я нашёл себя» и одновременно «я потерял критическое мышление». У одного курса — девять потоков. Девять потоков по четыреста человек. Три тысячи шестьсот людей заплатили реальные деньги за то, что Вэй Лин рассказал мне бесплатно на лавочке в ноябре. С одной разницей: после Вэй Лина у меня шла кровь из носа и тряслись руки. После курса — судя по отзывам — у людей было чувство глубокого удовлетворения и промокод на следующий поток со скидкой пятнадцать процентов. Может быть, шарлатаны — а может быть, гениальный бизнес-план: бери вещь, которая в оригинале убивает и перерождает, выхолости до комнатной температуры, добавь свечи, нейромозыку и PDF с домашним заданием — и продавай подписку. Если бы можно было продавать смерть без умирания, они бы и это монетизировали. Впрочем, подумал я, это и есть их продукт.

«Стек реальности» через пару минут привёл меня в PDF на триста двадцать страниц. Без обложки. Без имени автора (поле — пустое, как будто писавший решил, что имя — лишний идентификатор). Четыре упоминания на весь интернет. Я открыл. Прочитал первую главу.

Закрыл. Открыл снова. Прочитал ещё раз. Медленнее.

PDF был... странный. В буквальном смысле. Он описывал Вселенную как нейронную сеть. Как факт, а не метафору. Те же структуры, те же паттерны связей, та же архитектура на разных масштабах. И писавший не был сумасшедшим: цитировал реальные исследования, реальные данные, реальную математику. Просто делал из них выводы, которые ни один рецензент не пропустил бы в приличный журнал.

Но выводы — совпадали с тем, что сказал Вэй Лин. *Слово в слово*. Как будто PDF и разговор были написаны по одному и тому же конспекту.

Я сидел за столом, смотрел в экран и думал: а что, если это не совпадение? Что, если есть знание — настоящее, структурированное, проверяемое знание, — которое существует, но не вписывается ни в одну существующую рамку? Ни в физику, ни в нейробиологию, ни в психиатрию, ни в философию? Что, если оно просачивается — через книги, через странных людей на лавочках, через девушек с блокнотами, через мужчин с пустыми визитками — просачивается в мир, который отчаянно пытается его не замечать?

И что, если моя мать — нашла его раньше меня?

Телефон. Лена.

«Ты сегодня на работе?»

Я посмотрел на часы. Полтретьего. Рабочий день в разгаре. Я — физик, сотрудник института, кандидат наук. У меня кубиты. Грант. Рецензия через два месяца.

«Заболел», — написал я.

Первая в жизни ложь Лене, не считая «я спал».

Ложь. Я, возможно, впервые в жизни начал выздоравливать. Только выздоровление, подозревал я, будет хуже любой болезни.

Я взял визитку. Набрал номер.

Три гудка.

— Слушаю, — голос Вэй Лина.

— Я приду, — сказал я. — Только у меня условие.

— Какое?

— Расскажите мне про мать.

Пауза. Длинная. Я слышал, как за его окном (или за его — чем?) шумит ветер.

— Хорошо, — сказал он. — Но не сразу. И не всё. И вы будете жалеть, что спросили.

— Я уже жалею, — сказал я. — О многом. Это не повод останавливаться.

— Тогда завтра. Девять утра. Я пришлю адрес.

Он положил трубку. Я стоял у окна с телефоном в руке. За окном шёл снег — третий раз за неделю. Москва белела. Деревья, крыши, машины — всё покрывалось белым, как будто город осторожно стирали ластиком.

Я подумал: Вэй Лин, наверное, прав. И через неделю — или месяц — я буду жалеть, что позвонил. Или — не жалеть. Или — не смогу определить разницу.

Или — сойду с ума. Что, если подумать, тоже — форма ответа. Неприятная форма, но — ответ.

Я закрыл глаза. За веками было темно и тихо. Как неотправленное письмо.

Пробка — та самая, которой я двенадцать лет затыкал дыру, — лежала на полу. И засунуть её обратно я уже не мог. Да и, если честно, не хотел.

## Глава 4

### Нечеловеческий взгляд

Адрес, который прислал Вэй Лин, оказался квартирой в Хамовниках.

Обычной квартирой. Без офисной вывески, без бункерной двери, без надписи «Вход только для посвящённых» (хотя, если подумать, такая надпись придавала бы происходящему хотя бы стилистическую завершённость). Второй этаж. Сталинка — из тех, что строили, когда архитектура ещё считала себя искусством, а не отмыванием бюджета. Подъезд пах кошками и штукатуркой. (В Москве есть три вечных запаха: кошки, штукатурка и упущенные возможности. Первые два — в подъездах. Третий — везде.)

Домофон. Щелчок. Лестница. Дверь.

Открыл Вэй Лин. Прямая спина, спокойное лицо, и на нём — что-то среднее между кимоно и банным халатом. На любом другом человеке это выглядело бы как карнавальный костюм. На нём — как форменная одежда. Причём неясно, какой именно формы. Военной? Монашеской? Космической? Всё сразу? (Я потом привыкну к тому, что с Вэй Лином «всё сразу» — это дефолтное значение.)

— Заходите. Чай?

— Кофе, если можно.

— Можно. Но нежелательно. Кофе сужает.

— Что — сужает?

— Всё.

— Это научный факт?

— Это семьсот лет наблюдений.

Я решил, что это шутка. Через две недели я перестану так решать.

\* \* \*

Квартира. Первое, что бросилось в глаза: ничего не бросалось в глаза. Ни одной лишней вещи. Стол, стулья, полки с книгами, низкий диван — и всё. Ни кружки на подоконнике, ни зарядника в розетке, ни стопки бумаг, ни забытого пульта, ни ничего из того бытового мусора, которым человеческая жизнь зарастает, как дно корабля — ракушками. У меня в однушке нельзя пройти от двери до кровати, не наступив на книгу, зарядник или вчерашний носок. Это нормально. Так живут все одинокие мужчины моего возраста: на границе между жилым помещением и зоной бедствия. У Вэй Лина — стерильность, которая наводила на мысль, что он

здесь либо не живёт, либо не считает «жизнь» достаточной причиной для того, чтобы обрести вещи.

Книги. Семь систем письма, две из которых я не мог опознать. (Я изучал лингвистику на факультативе — и отличаю деванагари от тибетского, чем горжусь ровно раз в год, когда об этом заходит речь, то есть никогда.) Одну систему я вообще не видел ни в одном учебнике, и у меня возникло подозрение, что она не из тех учебников, которые продают в «Библио-Глобусе».

На полке — штука. Чёрная, гладкая, размером с кулак. Похожа на каменное яйцо. Я бы не обратил внимания, если бы она не *посмотрела* на меня, когда я проходил мимо. Посмотрела, не двигаясь. Как кошка, которая не двигает головой, но ты чувствуешь, что она тебя ведёт. Только это была, очевидно, ни кошка, ни яйцо. И я решил об этом не думать, потому что мой лимит необъяснимых явлений на эту неделю был исчерпан ещё в понедельник.

Вэй Лин заварил чай с точностью нейрохирурга и скоростью человека, проделавшего эту операцию примерно пятьсот тысяч раз (если семьсот лет — не шутка, то при двух чашках в день — это где-то полмиллиона; я физик, я считаю всё, это профессиональная травма).

Мы сели. Чай на столе. Пауза.

— Вы обещали рассказать о матери.

— Я обещал кое-что. Не всё.

— Кое-что — это больше, чем ничего.

— Смотря что. — Он отпил. — Иногда «кое-что» — это недостроенный мост. Вы уже не на берегу, но ещё не на другом. Висите над водой. Мост качается.

— Я инженера сын. Мосты — это у нас семейное.

Он поднял бровь. Первая видимая эмоция за два разговора. Прогресс.

— Ваша мать видела то же, что и вы. Только дальше. Вы видите, как событие «собирается» за секунду — она видела за дни.

— Откуда вы знаете?

— Мы за ней наблюдали. Академия это делает: ищет людей, у которых начинается... расширение. И, в идеале, помогает.

— В идеале.

— В идеале. Вашу мать мы нашли слишком поздно.

Чай был горячий. Я отпил. Руки не тряслись (удивительно). Мозг работал в режиме, который я знал по экзаменам: холодная, механическая ясность, которая приходит, когда ставки настолько высоки, что паниковать уже бессмысленно.

— Что значит «слишком поздно»?

— Когда восприятие расширяется без подготовки — мозг перегружается. Как компьютер, на который поставили софт не той версии. Иногда — зависает. Это ваши психиатры называют «диссоциацией». Иногда — перезагружается.

— Перезагружается — это...

— Это когда сознание пересобирает свою основу. Меняет платформу. Те, кто делает это осознанно, иногда проходят. Те, кто спонтанно...

Он замолчал. Потому что следующую фразу физически трудно произнести, даже если ты произносишь подобные фразы уже семьсот лет.

— Она умерла, — сказал я. Помогая ему. Или себе.

— Нет.

Короткое слово. Два звука. Мне хватило.

— Она перестроилась. Спонтанно. Её тело — прежнее тело — перестало существовать. Разобралось. Как если бы вы разобрали лего-модель обратно в кучу деталей. Поэтому его не нашли — нечего было находить.

— А она?

— То, что *было* ею, — перешло. Куда — мы не знаем точно.

Вот так. Без фанфар, без оркестра, без замедленной съёмки. Мужчина в халате, сидя за столом в Хамовниках, сообщил мне, что моя мать «разобралась в кучу деталей». Тем же тоном, каким Серёжа в лаборатории говорит «предохранитель сгорел». Профессиональная констатация. Бытовой апокалипсис.

Я должен был — что? Перевернуть стол? Потребовать доказательств? Вызвать полицию? Позвонить в скорую — себе?

Я пил чай.

Потому что — вот тут, дорогой блокнот (или дорогой санитар), начинается по-настоящему страшная часть — я ему *верил*. Потому что семилетний мальчик на полу в коридоре, обнимающий мамины тапочки, всегда это знал. Она не умерла. Мёртвые — это когда холодно. А тапочки были тёплые. (Закон Ньютона говорит, что тапочки остывают. Семилетние мальчики говорят, что нет. Я двенадцать лет слушал Ньютона. Может, пора послушать мальчика.)

— Вы в порядке? — спросил Вэй Лин.

— Нет. Но это моё нормальное состояние. Продолжайте.

\* \* \*

Он не продолжил. Вместо этого встал, подошёл к полке и снял чёрное яйцо. То самое, которое на меня смотрело. Поставил на стол.

— Не трогайте. Просто смотрите.

— А если я не хочу?

— Вы хотите. Иначе бы не пришли.

Справедливо. Я посмотрел.

Камень. Чёрный. Гладкий. Ничего. Я бы использовал его как пресс-папье и не вспоминал.

А потом камень *открылся*.

Физически он не двигался, не трескался, не светился. Но то, что я видел как поверхность, оказалось — дверью? Окном? Экраном? У меня нет слова. Представьте, что вы всю жизнь смотрите на стену, а потом обнаруживаете, что это проекция, и за ней — комната. Большая. Очень большая. Уходящая вглубь дальше, чем вы умеете видеть.

И в этой комнате кто-то есть.

Не «кто-то» в человеческом смысле. Не глаза, не лицо, не фигура. Скорее — *внимание*. Сфокусированное, плотное, нечеловеческое внимание, направленное на меня. Как если бы Google посмотрел на вас лично. Весь Google, вся его совокупная вычислительная мощность, собранная в одну точку и направленная на одного человека. Вся машина целиком, а никакой не алгоритм.

На меня.

(Скажу сразу: это одно из самых неприятных переживаний в моей жизни. Хуже фуры. Хуже феназепама. Хуже даже, чем тот новогодний корпоратив на третьем курсе, о котором мы договорились не вспоминать. Потому что фура — это опасность. А это — просто *масштаб*. Ты вдруг понимаешь, что ты — маленький. Буквально. Ощущение «чувствую себя маленьким» — это можно пережить, это бывает в горах и в океане. Тут ты *являешься* маленьким. Объективно. Измеримо. Как муравей, на которого смотрит энтомолог. Только энтомолог — размером с солнечную систему, и у него нет глаз, и ему от тебя что-то нужно, и ты понятия не имеешь — что.)

И пока это что-то на меня смотрело, стол подо мной перестал быть столом. То есть *выглядел* по-прежнему — дерево, царапины, пятно от чая, — но я вдруг увидел, что это *файл*. Сжатый файл, в котором упакована вся история: дерево в лесу (семьдесят лет, Тверская область), лесоруб (болит спина, двое детей), пило-рама, мастерская, двадцать три года в этой квартире, полмиллиона чашек чая. Вся информация — тут. Я раньше видел стол. Теперь видел его *содержание*. Как будто кто-то кликнул «Свойства» на файле, который всю жизнь лежал у меня на рабочем столе.

Чай в чашке стал — маршрутом. Каждая молекула несла штрих-код: лист, корень, почва, дождь, облако, океан. Я пытался выпить библиотеку. (Теперь я понимал, почему Вэй Лин не пьёт кофе. Кофе — та же библиотека, только все книги орут одновременно.)

Время — тут нужно остановиться, потому что это важно — время *исчезло*. Не «замедлилось». Не «растянулось». Исчезло. Как будто кто-то выдернул линейку, которой я всю жизнь измерял реальность, и сказал: «А теперь без линейки». Это отвратительное ощущение. Вы не представляете, насколько вы зависите от времени, пока оно есть. Время — это не часы на стене. Это способ, которым ваш мозг говорит вам: «Ты существуешь. Вот доказательство: секунду назад ты тоже

существовал». Уберите доказательство — и вы повисаете в пустоте, как файл без расширения: данные есть, но никто не знает, как их открыть.

Потом Вэй Лин накрыл камень ладонью. Как лампу — колпаком. Всё выключилось. Стол стал столом. Чай — чаем.

Я сидел, вцепившись в столешницу, и дышал ртом, как собака после пробежки. Красиво? Нет. Достойно? Тоже нет. Зато честно.

— Что это было? — спросил я, когда смог.

— Наблюдатель.

— Наблюдатель.

— Да. Нечеловеческий. Существует глубже. На четвёртом-пятом уровне.

— Живой?

— Зависит от определения. Наблюдает — да. Реагирует — да. Принимает решения — да. Если этого хватает для «живого» — живой. Если вам нужны лёгкие, печень и аккаунт в соцсетях — нет.

— Он опасен?

— Она. — Пауза. — Не опасна. Она любопытна. Вы её заинтересовали.

— Чем?

— Вы — редкость, Даниил. Человек, у которого стек открывается сам. Без вмешательства, без подготовки, без причины.

— Насколько редкость?

— Раз в несколько поколений.

— Ого.

— Не льстите себе. «Редкость» не значит «ценность». Редкая болезнь — тоже редкость. Вопрос — что вы с этим сделаете.

Вот это мне нравилось в Вэй Лине: каждый раз, когда я начинал чувствовать себя «особенным», он ронял ведро холодной воды. Точно, вовремя, без злости. Как тренер, который видит, что ты плывёшь не туда, и разворачивает тебя за ногу.

— Ладно, — сказал я. — Эта штука на меня посмотрела, и я увидел историю стола. Почему?

— Потому что рядом с ней ваш фильтр выключается. Как если бы вы носили наушники с шумоподавлением, а кто-то их снял.

— То есть я всегда мог это видеть, но...

— Но ваш мозг это блокировал. Из самосохранения. Мозг — умная машина: он показывает вам ровно столько, сколько вы можете переварить. Остальное — фильтрует. То, что ваши психиатры называют «нормальным восприятием» — это фильтр. Очень хороший, очень надёжный фильтр, который отсекает примерно девяносто шесть процентов входящей информации.

— Девяносто шесть?

— Грубая оценка. Может быть, девяносто восемь.

Я подумал: мы живём в мире, где наш собственный мозг показывает нам четыре процента реальности и называет это «объективной картиной мира». И мы на основе этих четырёх процентов строим науку, философию, религию, политику, отношения, карьеры. Это примерно как если бы вы пытались понять сюжет «Войны и мира» по четырём случайным страницам.

(Впрочем, многие читали «Войну и мир» примерно так, и ничего — сдали экзамени.)

— Это связано с мамой? — спросил я. — То, что у меня фильтр слабеет?

Вэй Лин посмотрел на меня. Пауза — та, которую я уже узнавал: он решал, сколько мне сообщить.

— Да. Но не так, как вы думаете.

— А как?

— Вы — её продолжение. Не просто сын.

— Генетика?

— Глубже. У каждого сознания есть... почерк. Способ мыслить, а не сами мысли. Способ наблюдать, а не характер. Обычно это уникально. Но при перестройке — иногда — переходит. Частично. Как чернила, которые проступают на следующей странице.

— И я — следующая страница.

— Да. Поэтому вы «вспомнили» слово «Академия». Это её чернила, а не ваша память.

Я сидел и думал о фотографии на кухонном столе. Глаза, смотрящие сквозь камеру. Двадцать один год я думал: «задумчивый взгляд». *Видящий*. Тот же, что у меня. Тот же почерк.

Значит — то, что случилось с ней, может случиться со мной. *Уже начало*. Мой фильтр слабеет. Мои кубиты реагируют на мои мысли. Я вижу, как собираются события. Я — она, через двадцать один год, в другом теле, в начале того же пути.

Утешает ли это? Нет. Но хотя бы объясняет, почему я всю жизнь чувствовал себя черновиком — незаконченным, с пометками на полях чужим почерком.

— У меня условие, — сказал я.

— Слушаю.

— Если я иду в эту вашу Академию, если я учусь «не ломаться» — я хочу найти мать. Узнать, куда она перешла. И можно ли её... вернуть.

Вэй Лин молчал. Долго. Потом:

— Первые два — возможно. Третье — вы пока не понимаете, что просите.

— Объясните.

— Не сейчас. Сначала — научитесь видеть, не сторяя. Потом — вопросы.

— Это «потом» — через сколько?

— Зависит от вас. Неделя. Месяц. Год. Или никогда. Бывает и так.

— Утешительно.

— Я информирую. Утешение — это когда вам говорят то, что вы хотите услышать. Информация — это когда вам говорят то, что есть. Первое приятнее. Второе полезнее.

Он встал. Разговор был окончен. Я — видимо — прошёл какой-то тест, о котором не знал.

У двери я обернулся.

— Зоя. Девушка в сквере. Она — тоже из Академии?

— Нет. Зоя — другое.

— Какое — другое?

— Сложное.

— Сложнее этого? — я кивнул на чёрное яйцо.

— Значительно.

Замечательно. Я вышел в подъезд. Лампочка над лестницей мигала — не от плохого контакта (хотя и от него тоже), а потому что я теперь *знал*, что за мигающей лампочкой стоит электростанция, река, дождь, солнце, термоядерная реакция. Одна дохлая лампочка в подъезде — и цепочка причин, уходящая к звёздам. Только раньше я этого не видел. А теперь видел — на полсекунды, прежде чем фильтр снова включился и лампочка снова стала просто дохлой лампочкой.

На улице — Москва, ноябрь, люди с пакетами из «Вкусвилла». Нормальная жизнь. На три секунды я увидел их «файлы» — биографии, свёрнутые в пуховики и шапки, — и зажмурился. Как от яркого света. Потому что это и был яркий свет, только солнцезащитные очки от него не спасают.

Прошло. Москва снова стала Москвой — плоской, тесной, как квартира, в которую ты вернулся после долгого отсутствия и обнаружил, что потолки ниже, чем ты помнил.

Я сел в машину. По радио — реклама средства от изжоги («Гастроцит — ваш желудок скажет спасибо!»). Я подумал: если мой желудок узнает, что я только что смотрел в нечеловеческий зрачок из чёрного камня и мне рассказали, что мама «разобралась в кучу деталей», — ему понадобится кое-что покрепче Гастроцита.

По дороге позвонила Лена.

— Ты как?

— Нормально.

— «Нормально» — это «нормально», или «отвали»?

— Второе, но вежливо.

— Понятно. Слушай, я перепроверила вчерашний скачок. Нашла объяснение: дрейф температуры плюс электромагнитный фон от метро.

— Вероятность?

— Ноль три процента.

— Лен. Это ноль.

— Это не ноль. Для отчёта — достаточно.

«Для отчёта». Два слова, в которых вся современная наука: «достаточно для отчёта» вместо «достаточно для понимания». Мы ищем формулировку, которая пройдет рецензию. Вся разница между учёным и бюрократом — в том, что учёный знает, что его формулировка — ложь, а бюрократ — нет. Впрочем, зарплата одинаковая.

Неделю назад я бы согласился. Ноль три — для отчёта хватит. Сегодня я ехал в машине, в кармане — визитка человека, которому (возможно) семьсот лет, в голове — воспоминание о нечеловеческом взгляде из чёрного камня, и единственное, что я знал точно: ноль три процента — это пластырь. Который мы клеим на рану, потому что зашивать — дорого, больно и некому.

— Спасибо, Лен. Ставь в лог.

— Дан?

— Да?

— Ты точно в порядке?

— Впервые за двенадцать лет — почти.

Повесил трубку. Ехал по Москве. Город был тот же — серый, мокрый, бесконечный. Но я знал, что за ним — ещё пять этажей, о которых эти двадцать миллионов человек не подозревают. Может, тридцать миллионов — если считать с областью. Никто. Ноль целых ноль десятых. Для отчёта — достаточно.

## Глава 5

# Как правильно сходить с ума

Неделю мне дал Вэй Лин. Хватило четырёх дней.

Первый день прошёл нормально — в том единственном смысле, который это слово ещё имело в моей жизни: ничего не случилось, и я не увидел ничего такого, чего не мог бы объяснить усталостью, стрессом или недостатком витамина D (москвичи с октября по март живут в состоянии перманентного авитаминоза; солнце в Москве зимой — это городская легенда, вроде вежливых таксистов и доступного жилья).

На второй день я увидел метро.

\* \* \*

Метро я вижу каждый день: эскалатор, толпа, запах, который невозможно описать, но который мгновенно опознаётся любым москвичом (смесь резины, пота, парфюма и подавленного отчаяния — если бы Москва была человеком, это был бы запах его подмышек). Я имею в виду другое: я увидел, как метро *работает*.

В том смысле, в каком я увидел «биографию воды» в чашке у Вэй Лина. Рельсы, ток, вентиляция тут ни при чём — инженерная сторона была вторична.

Я стоял на платформе Шаболовской, ждал поезда, и вдруг — без предупреждения, без сквозняка, без лишней ноты — увидел людей *изнутри*.

Я увидел — как бы это сказать — *траектории*. Без всяких там «аур», «мыслей» и «энергетических полей». Каждый человек на платформе нёс за собой шлейф из решений, привычек, страхов, надежд — и этот шлейф был *структурой*. Видимой. Плотной. Как след инверсии за самолётом: вы не видите двигатель, но видите, где он пролетел.

Женщина в красном пальто — её траектория была узкой, сжатой, как провод под напряжением. Всё в ней было направлено в одну точку: ребёнок (дома, больной, температура 38,2 — я не знал, откуда знаю это, но знал). Мужчина с портфелем — его траектория раздваивалась, вилась, петляла: он принимал решение, от которого зависело что-то важное, и каждый вариант тянул его в свою сторону, и он разрывался, буквально, структурно, на уровне, который глубже мышц и костей.

Подросток в наушниках — его траектория была... странной. Она шла *перед* ним, а не за ним, как у остальных. Как будто будущее двигалось к нему. Я не понимал, что это значит, но от этого зрелища по спине пробежал холод.

Длилось это секунд пятнадцать. Потом — как обычно — всё схлопнулось. Платформа. Люди. Запах. Поезд подъехал. Я сел в вагон. Руки тряслись.

В вагоне я подумал: пятнадцать секунд. В прошлый раз — десять. В позапрошлый — две. Нарастает. Быстрее, чем линейно. Если это экспонента (а физик во мне подсказывал, что это экспонента), то через два-три дня я буду видеть это постоянно. Без перерыва. Без возможности выключить.

Как монитор, на котором нельзя убавить яркость. Как радио, на котором нет кнопки «выкл». Как сознание, которое кто-то повернул на максимум и сломал ручку.

\* \* \*

На работе было хуже.

Потому что я впервые в жизни увидел лабораторию *как она есть*. Как узел, а не набор приборов и экранов. Место, где физический мир особенно тонок, потому что мы тут систематически, ежедневно, с девяти до шести, тыкаем палкой в его фундамент.

Квантовая лаборатория — это, если подумать, единственное место в мире, где люди *официально* работают с тем, что нарушает правила обычной реальности. Суперпозиция: объект одновременно в двух состояниях. Запутанность: два объекта мгновенно влияют друг на друга через любое расстояние. Коллапс волновой функции: реальность *становится определённой* только тогда, когда на неё смотрят.

Мы занимаемся этим каждый день. И каждый день делаем вид, что это нормально. Что это «просто физика». Что «на макроуровне всё это не работает». Что между квантовым миром и нашей повседневной жизнью — стена, через которую ничего не просачивается.

А я стоял посреди лаборатории и видел, что стены нет.

Наши кубиты — те самые, которые «флуктуируют» и «ведут себя уклончиво», — не заканчивались. Физически — да: вот криостат, вот чип, вот провода, вот экран с графиком. Всё на месте, всё в границах. Но *оттуда* — из того слоя, который я теперь видел краем глаза, как видишь боковым зрением человека, стоящего за плечом, — оттуда кубиты были дырками. Прорехами в ткани первого этажа, через которые второй этаж пялился на нас. Мы два года сверлили дыры в полу и удивлялись, что из подвала дует.

Дуло на всех, не только на кубиты. На Лену, которая сидела в метре от криостата. На Серёжу этажом ниже. На Гришу с его восклицательными знаками. На

всех ста сорока семь сотрудников института (я вчера считал на сайте, от скуки). Мы все работали внутри здания, в котором систематически, ежедневно, за государственный счёт проделывали отверстия в фундаменте реальности — и ни один из нас об этом не знал. Кроме, теперь, меня.

(Вот, кстати, вопрос, который почему-то никто не задаёт: если квантовая лаборатория — это место, где реальность тоньше, чем в остальных местах, — почему правительства финансируют квантовые исследования? Официальный ответ: «квантовые компьютеры, криптография, военное преимущество». Триста миллиардов долларов в год — на «военное преимущество». Звучит убедительно. Но — если подумать — квантовый компьютер — это устройство, которое *буквально* заставляет реальность делать вычисления. *Саму* реальность, а не её *модель*. Мы берём ткань мира — и заставляем её считать. Как если бы вы взяли стену своего дома и заставили её решать уравнения. Стена — решает. Но — что происходит с домом?)

Мы думали, что изучаем квантовый мир.

Квантовый мир изучал нас.

— Дан? — голос Лены. — Ты в порядке?

Я стоял посреди лаборатории и, видимо, выглядел так, что Лена решила спросить. А Лена не спрашивает «ты в порядке» просто так. Она спрашивает, когда ответ очевиден и неутешителен.

— Да, — сказал я. — Задумался.

— Ты «задумался» стоя с открытым ртом, глядя в потолок, уже две минуты.

Две минуты. Мне казалось — секунд десять.

— Голова болит, — соврал я. — Пойду пройдуся.

\* \* \*

Я вышел на улицу и позвонил Вэй Лину.

— Это началось, — сказал я.

— Что именно?

— Я вижу. Всё время. Раньше было вспышками. Теперь — кусками по пятнадцать-двадцать секунд. Людей. Пространство. Связи. И я не могу это контролировать.

Пауза. Короткая — может, секунду. Но для человека, который говорит «семьсот лет опыта», эта секунда означала, что он считает.

— Приезжайте, — сказал он. — Сейчас.

— Я на работе.

— Даниил. Через двадцать четыре часа вы не сможете находиться среди людей, не видя их изнанку. Через сорок восемь — вы не сможете отличить этот слой

от физического. Через семьдесят два — вы перестанете понимать, какой из них настоящий. Работа подождёт. Ваш мозг — нет.

Я посмотрел на здание института. Семь этажей. Не работающий лифт. Кофемашина, подчиняющаяся законам термодинамики только по чётным дням. Лена за мониторами. Серёжа с паяльником. Гриша с восклицательными знаками. Кубиты, которые делают вид, что не смотрят на меня, пока я делаю вид, что не смотрю на них.

Мой мир. Четыре года. Публикации, гранты, конференции, бумажные стаканчики с плохим кофе, споры о декогеренции, ночные сессии данных, запах хлорки в коридоре, одиннадцать трещин на потолке.

— Буду через сорок минут, — сказал я.

Повесил трубку. Постоял. Потом вернулся в здание.

\* \* \*

— Лен.

Она обернулась. Три монитора, клетчатая рубашка, взгляд человека, который уже понял, что сейчас услышит что-то, что ему не понравится.

— Мне нужно уехать.

— Куда?

— По личным делам.

— Дан. Рецензия через шесть недель.

— Я знаю.

— Данные за последний месяц не обработаны. Серия двадцать шесть не закончена. Серёжа говорит, что криостат...

— Лен. Мне *нужно* уехать.

Пауза. Она смотрела на меня. Я видел — обычным зрением, без «стекового», просто видел, потому что знал её четыре года, — как за её глазами проносятся варианты: он болен, он в беде, он нашёл другую работу, он сходит с ума, он уже сошёл.

— Надолго? — спросила она.

Я не знал. Вот что самое честное: я не знал. Надолго — это на день? На неделю? Навсегда? Вэй Лин сказал «учёба», но что это значит — учёба? Месяц? Год? Семьсот лет?

— Не знаю, — сказал я. — Может быть, неделю. Может, больше.

— А может, ты не вернёшься.

Она сказала это как констатацию. Тихо, ровно, без драмы. Лена не делает драму. Лена делает факты.

— Может, не вернусь, — сказал я.

Тишина. Длинная. Гудели системы охлаждения. Где-то внизу Серёжа ронял что-то тяжёлое.

— Это связано с тем, что было на перекрёстке? — спросила она. — С фурой? С данными? С тем скачком, который мы «не видели»?

Я кивнул.

— Ты нашёл... что-то?

— Кого-то.

Она закрыла глаза. Открыла. Встала. Подошла ко мне. И сделала то, чего за четыре года не делала ни разу: обняла.

Коротко. Крепко. Без слов.

Потом отступила.

— Иди, — сказала она. — Но Дан...

— Что?

— Если там, куда ты идёшь, окажется секта — я приеду и вытащу тебя за уши.

Ты меня знаешь.

Я улыбнулся. Впервые за неделю — по-настоящему.

— Я знаю.

— И ещё. — Она вернулась к мониторам. — Серию двадцать шесть я закончу сама. Но если ты не вернёшься к рецензии — я впишу тебя третьим автором. После Серёжи.

— После Серёжи?!

— Он хотя бы приходит на работу.

Это было «до свидания» по-ленинскому: оскорбление, замаскированное под заботу, замаскированную под оскорбление. Я забрал куртку, рюкзак и блокнот Зои из ящика стола. У двери обернулся.

Лена сидела за мониторами. Спина прямая. Руки на клавиатуре. Три экрана, код, данные. Как обычно. Как всегда. Как будто ничего не изменилось.

Только плечи чуть поднялись. Одна маленькая деталь. Она делает это, когда сдерживает слёзы.

Я вышел. Закрыл дверь. Спустился по лестнице (лифт не работал; лифт, по крайней мере, был стабилен в своём нежелании работать — и в этом было утешение).

На площадке между третьим и четвёртым этажом я остановился. Задохнулся — да, тоже. Но главное — вспомнил Ленины плечи.

Она промолчала. Плечи поднялись — и всё. Ни слёз, ни криков, ни «не уходи». Четыре года вместе — и единственное прощание, которое она себе позволила, — два сантиметра вверх. Плечами. Молча.

(Я — на лестнице, между третьим и четвёртым этажом — подумал: может, это и есть «субъектный инвариант» в быту. *Как ты молчишь*. И у Лены — молчание —

*красивое.* Как у Вэй Лина. Только — без семисот лет практики.)

Вышел из здания. Сел в машину.

\* \* \*

По дороге в Хамовники меня накрыло.

Не в метро, не среди людей — в машине, одному, на Ленинском проспекте, в пробке. Самое неподходящее место в мире для расширения сознания (хотя, если подумать, *подходящего* места для этого не существует; вряд ли кто-то когда-то говорил: «О, какое удобное время и место, чтобы у меня обрушились все перцептивные фильтры!»).

Сначала я увидел машины. Процессы — железо, стекло и пластик тут ни при чём. Каждая машина в пробке была узлом в сети из тысяч решений: этот повернул сюда, потому что опаздывает, потому что проспал, потому что не спал ночью, потому что ссорился с женой, потому что... Тысячи причинно-следственных цепочек, сплетённых в один узел, который мы называем «пробка». Пробка — это визуализация того, как десять тысяч жизней одновременно не помещаются в одно пространство. Транспортная проблема тут вторична.

Потом я увидел дорогу. *Историю*, а не асфальт. Слои, уходящие вниз: этот асфальт, предыдущий, тот, что был до него. Земля, которая была здесь до дороги. Лес, который был здесь до земли. Ледник, который был здесь до леса. Всё — одновременно. Как факт, а не воспоминание: все эти слои *были здесь*, и в каком-то смысле — *всё ещё здесь*.

Потом — небо. *Само небо*, а не облака. Пространство между мной и звёздами, которое мы считаем пустым. Оно полно — связями, потоками, структурами, которые... которые...

Тут я понял, что не чувствую руля. Мои руки на секунду перестали быть «моими» — и дело было не в онемении. Они были частью машины, которая была частью пробки, которая была частью города, которая была частью... чего? Всего?

Я не знаю, сколько это длилось. Может, секунду. Может, минуту. Я пришёл в себя, потому что кто-то сигналил — передо мной было свободное место в полтора корпуса, а я стоял и не ехал.

Руки тряслись. Сердце билось так, как будто я пробежал пять километров. Во рту — вкус меди. (Позже Вэй Лин объяснит, что вкус меди — это нейрохимический ответ мозга на перегрузку: когда количество обрабатываемой информации превышает пропускную способность, нейромедиаторы «подтекают», и вкусовые рецепторы ловят то, что не предназначено для них. Красиво. Пугающе. Научно.)

Я доехал до Хамовников на автопилоте. Не помню, как парковался.

\* \* \*

Вэй Лин открыл дверь, посмотрел на меня и сказал:

— Садитесь. Не разговаривайте.

Я сел. Он положил руку мне на затылок. Ладонь была тёплой и сухой. Я ожидал чего-то — вспышки, ощущения, электрического разряда. Ничего. Просто тёплая ладонь.

И мир вокруг меня — медленно, как если бы кто-то убавлял громкость, — утих.

Нити исчезли. Траектории исчезли. Пространство снова стало простым, плоским, одномерным: стены, стол, чашка, свет. Тот самый «первый этаж», на котором живут все нормальные люди. Я не видел больше ничего, кроме того, что видят все.

И у меня потекли слёзы.

От того же, от чего плачут, когда выключают музыку: секунду назад был оркестр, а теперь — тишина, и в тишине ты слышишь только собственное дыхание, и оно тебе не нравится.

Двадцать восемь лет я жил в мире, который, оказывается, был с выключенным звуком. Вэй Лин на секунду дал мне услышать, как звучит полная версия. А потом нажал «mute». И я сидел в этой тишине и понимал: вот так, значит, живут все. Вот это — «нормальность». Глухая комната, в которой ты принимаешь стены за границы мира, а отсутствие музыки — за тишину. Только это — оглохлость, а никакая не тишина.

— Это временно, — сказал Вэй Лин. Он убрал руку. Голос спокойный. — Я поставил фильтр. Он продержится несколько дней. Этого достаточно, чтобы начать учиться.

— Учиться чему?

— Смотреть, не сгорая.

Я вытер лицо. Посмотрел на него. Он наливал мне чай. Спокойно. Как будто только что не выключил человеку вселенную.

— Семьсот лет, — сказал я. — Вы серьёзно.

— Я всегда серьёзно. Кроме тех случаев, когда предупреждаю, что шучу.

— И вы всё это время... видите?

— Вижу.

— Всё?

— Больше, чем всё. Но об этом потом.

— Как вы не сошли с ума?

— Кто вам сказал, что не сошёл?

Пауза. Я пытался определить, шутит он или нет. Не смог.

— Ладно, — сказал я. — Допустим, я не хочу обратно в глухую комнату. Что дальше?

— Дальше — вы учитесь. В другом месте, где это можно делать... безопаснее. Москва для этого не годится.

— Академия.

— Да.

— Она — что? Школа? Монастырь? Военная база?

— Всё перечисленное. И ни одно из перечисленного. — Он отпил чай. — Академия — это пространство, в котором законы работают иначе. Потому что мы перестали притворяться, что они — единственные.

— Где она?

— Везде и нигде. Это ответ физика, прикинувшийся мистическим: она существует в слое, а не в координатах. Вход — перцептивный, а географии тут нет. Вы уже почти можете войти.

— Почти?

— Почти. Вам нужно сделать одну вещь.

— Какую?

— Перестать держаться.

— За что?

— За конфигурацию. — Он отпил чай, как будто сказал «за погоду». — Вы — это не ваше имя, не ваша квартира, не ваш институт, не ваша фотография на столе. Вы — процесс, который всё это генерирует. Но процесс вцепился в свои продукты и решил, что он — это они. Как река, решившая, что она — это берега. Уберите берега — и река просто потечёт шире.

— А если я не река? Если я — именно берега?

— Тогда вам нечем будет течь в Академию.

Это было — диагностикой. Он не уговаривал. Он проверял.

— Она думает, что я уйду в секту.

— Она ошибается. Но не сильно. — Снова тень улыбки. — Секта — это когда тебе объясняют, что ты особенный, и просят денег. Академия — это когда тебе объясняют, что ты обычный, и просят всё остальное.

(Я потом долго думал над этой формулировкой. Она — точная. И она — объясняет, почему коучи пробуждения зарабатывают миллионы: они продают первую половину — «ты особенный» — без второй — «отдай всё». Это как продавать вход в горящее здание без пожарного костюма. Клиент заходит, чувствует жар, говорит «вау, трансформация!», выбегает до того, как загорелся, пишет отзыв на пять звёзд и покупает второй модуль. Настоящий пожар — тот, в который входят и не выбегают, — стоит *тебя*. Денег тут не хватит. Но это в рекламу не помещается.)

Я посмотрел на чай. На стол. На чёрное каменное яйцо на полке (оно стояло тихо; тот, кто в нём жил, видимо, решил не подглядывать). На Вэй Лина. На свои руки.

Мои руки. Руки Даниила Рейнова, физика, москвичка, сироты (почти), невротика, бага. Руки, которые держали мамины тапочки двадцать один год назад. Руки, которые дёрнули Лену за рукав на перекрёстке. Руки, которые тряслись, когда я читал блокнот Зои.

Перестать держаться.

— Когда? — спросил я.

— Завтра. Утро. Я заеду за вами.

— Мне нужно домой. Собрать вещи.

— Вещи не нужны.

— Хотя бы зубную щётку.

Он посмотрел на меня. И засмеялся. Впервые. Негромко, сухо, но — настоящий смех. Полноценный смех — не улыбка, не тень улыбки.

— Зубную щётку — можно, — сказал он.

\* \* \*

Вечером я сидел в квартире и делал то, что делает физик, когда его жизнь рушится: инвентаризацию.

Книги — сто сорок три (считал в прошлом году, когда пытался уснуть). Монитор — один. Кружка с отбитой ручкой — одна. Трещины на потолке — одиннадцать. Всё на месте. Как в лаборатории: приборы стоят, данные собираются, экспериментатор уходит. Приборы не замечают.

Мамина фотография. Я взял её со стола. Тёмные волосы. Глаза, которые смотрят сквозь камеру. Двадцать один год эта фотография стояла на кухне, и двадцать один год я думал, что она — всё, что осталось. А теперь мне говорят: она где-то в стеке, и я несу в себе её почерк. И я собираюсь в место, о котором не знаю ничего, кроме названия. Нормальный вечер нормального кандидата наук.

Фотографию я положил в карман куртки. Зубную щётку — на тумбочку.

Потом набрал отца.

Три гудка. Четыре. Пять. Я уже хотел повесить трубку — и он взял.

— Дан? — Удивлённый голос. Мы не разговаривали больше месяца. — Всё в порядке?

— Да, пап. Всё нормально. Просто хотел... поговорить.

Пауза. Отец — человек пауз. Он молчит, потому что привык, что слова — ненадёжный инструмент, а молчание — хотя бы честное.

— Поговорить, — повторил он. — Ты точно в порядке?

— Пап. Я хочу тебя спросить. Мама... она когда-нибудь говорила тебе что-нибудь... странное? Про мир. Про то, как устроена реальность. Про то, что она видит вещи, которых не видят другие.

Длинная пауза. Очень длинная.

— Почему ты спрашиваешь?

— Потому что я, кажется, начинаю понимать, что с ней случилось.

Ещё пауза.

— Она говорила, — наконец сказал он. Голос тихий. Непривычно тихий. — Она говорила, что мир — как дом с тонкими стенами. Что иногда она слышит, что за стеной. Я думал... я думал, это метафора. Или... — он запнулся. — Или болезнь.

— Это не болезнь, пап.

— Дан. Ты не...

— Нет. Я не болен. Я... разобрался. Кажется.

— Разобрался — в чём?

— В стенах.

Молчание. Я слышал его дыхание. Тяжёлое, ровное, дыхание шестидесятилетнего инженера, который всю жизнь строил мосты (настоящие, из бетона и стали) и никогда не верил ни во что, что нельзя потрогать руками.

— Будь осторожен, — сказал он.

— Буду.

— И позвони. Через неделю, а не через месяц.

— Хорошо.

Пауза. Я слышал, как он дышит. Потом он сказал:

— Твоя мать... она тоже так начинала. Сначала вопросы. Потом — ответы, которые мне не нравились. Потом — ушла.

Это было самое длинное, что он сказал о маме за двадцать один год. Обычно — одно предложение: «Несчастный случай». Точка. Как балка, которую кладут поперёк разговора, чтобы дальше не ходили. А тут — три предложения. Для моего отца это примерно как для другого человека — написать мемуары.

— Пап. Я вернусь.

— Она тоже так говорила.

Повесил трубку. Не попрощавшись. Отец просто кладёт трубку, когда считает, что всё сказано — прощаться у него не принято. Инженерный подход: разговор — это мост, и когда ты его перешёл, ты идёшь дальше.

Я стоял у окна. Москва за стеклом делала то, что умеет лучше всего: существовала. Двадцать миллионов человек, четыре процента реальности, ноль три процента объяснений. Для отчёта — достаточно.

Завтра утром приедет Вэй Лин. Завтра я пойду в место, которое существует «в слое, а не в координатах». Это, если подумать, самая честная вещь, которую можно сказать о любом месте, куда стоит идти: оно в другом режиме зрения, а на карте его нет. Как та картинка из детства — «Волшебный глаз», — где нужно расфокусировать взгляд, и тогда из хаоса проступает трёхмерный дельфин. Только здесь вместо дельфина — Академия. И расфокусировать нужно жизнь, а

не взгляд.

Я лёг.

Завтра — кто-то другой. Или тот же, но без берегов.

Я заснул быстро. Мне ничего не снилось.

Зубная щётка лежала на тумбочке. Мамина фотография — в кармане куртки, висящей на стуле. Блокнот Зои — в рюкзаке у двери. Визитка Вэй Лина — в заднем кармане джинсов.

Четыре предмета. Всё, что осталось от Даниила Рейнова, кандидата наук, Москва, Шаболовка.

Впрочем, если подумать, четыре предмета — это больше, чем нужно. Вэй Лин сказал: «Вещи не нужны». Но он также сказал: «Зубную щётку — можно». И мне хочется верить, что человек, который семьсот лет назад перестал держаться за берега, всё-таки понимает кое-что про зубные щётки.

А если не понимает — я ему объясню. Это будет мой первый вклад в семисот-летний опыт Академии: гигиена полости рта как фундамент метафизического развития.

На этой мысли я, кажется, улыбнулся. И заснул.